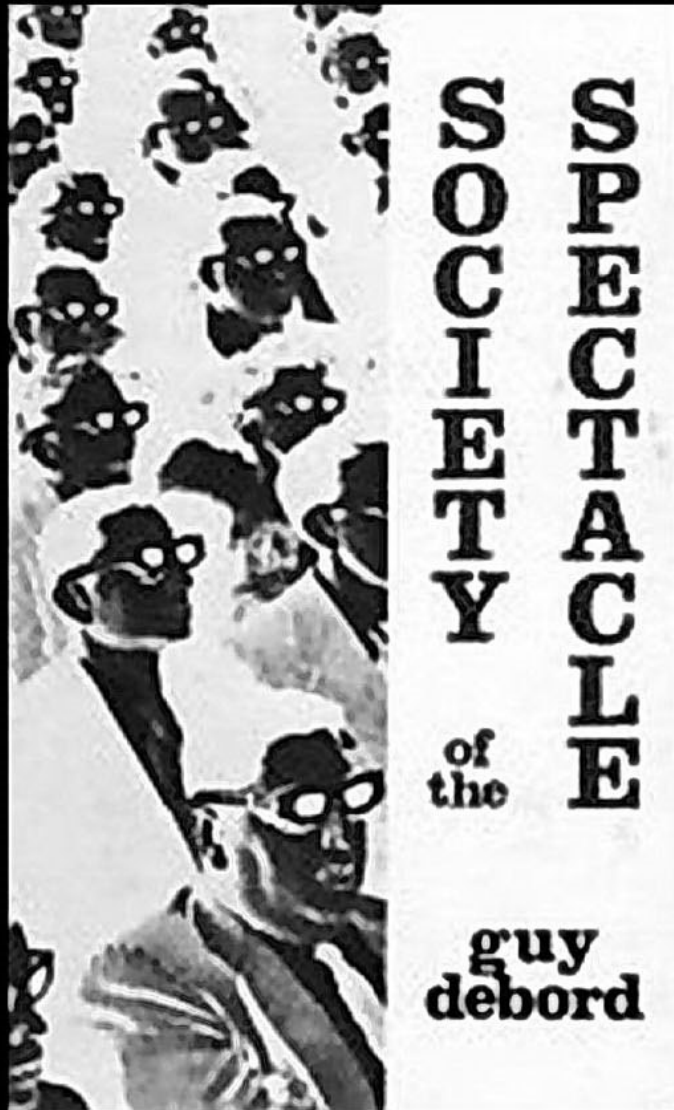


THE SOCIETY OF THE SPECTACLE

by Guy Debord



Общество Спектакля
ГД

Guy Debord

La Société du Spectacle

Gallimard

Paris 1969

Ги Дебор

Общество спектакля

Оглавление

Предисловие к 3-му французскому изданию.	2
Предисловие к 4-му итальянскому изданию “Общества спектакля”.....	3
Глава 1. Завершенное разделение.....	12
Глава 2. Товар как спектакль.	18
Глава 3. Единство и разделение в видимости.	23
Глава 4. Пролетариат как субъект и представление.....	29
Глава 5. Время и история.	48
Глава 6. Зрелищное время.	55
Глава 7. Обустройство территории.	58
Глава 8. Отрицание и потребление в культуре.	62
Глава 9. Материализованная идеология.	70

Debord Guy

La société du spectacle.

Gallimard. Paris. 1969

Ги Дебор

Общество спектакля

Перевод с французского –

С. Офертаса и М. Якубович (Предисловие к четвертому итальянскому изданию)

Редактура перевода – Б. Скуратов (при участии О. Никифорова)

Логос. Москва 2000

Корректор – Е. Крейзер

Художественное оформление

Анатолия Осмоловского

Издание осуществлено в рамках программы “Пушкин” при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.

Книга издана при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Французской республики и при содействии Французского культурного центра в Москве.

Дебор Г.

Д 12

Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство “Логос” 1999. – 224с.

© *Debord G. La société du spectacles.” Gallimard. Paris. 1969*

© Издательство “Логос”. Москва 1998.

Предисловие к 3-му французскому изданию.

Общество спектакля было в первый раз опубликовано в издательстве “Бюше Шастель” в Париже в ноябре 1967 года. События 1968-го сделали книгу известной. Книга, в которой я никогда не менял ни единого слова, переиздавалась с 1971 года в издательстве “Шан Либр”, которое в 1984 году после убийства редактора было названо именем Жерара Лебовичи. Затем регулярно, вплоть до 1991 года, следовала серия переизданий. Настоящее издание также остается строго тождественным изданию 1967 года. То же правило, само собой разумеется, будет использоваться и впредь для переиздания всех моих книг в “Галлимар”. Я не из тех, кто себя поправляет.

В изменении подобной критической теории до тех пор нет необходимости, пока не нарушаются общие условия продолжающегося периода истории, который эта теория впервые и смогла точно определить. Дальнейшее развитие этого периода только подтверждает и иллюстрирует теорию спектакля, изложение которой, здесь воспроизведенное, также может рассматриваться как историческое, но в менее возвышенном значении, ибо оно свидетельствует о том, какова была самая радикальная позиция в момент столкновений 1968 года, и, следовательно, о том, что же уже тогда можно было осознать. Даже последние простофили того времени, благодаря неотступно следовавшим за ними разочарованиями теперь смогли, наконец, понять то, что же означало “отрицание жизни, ставшее видимым”, “утрата качества”, связанная с формой-товаром, или же “пролетаризация мира”.

Кроме того, в свое время я добавил и другие наблюдения, касающиеся самых заметных новшеств, которые проявились во всем последующем развитии того же самого процесса. В 1979 году (в связи с написанием предисловия к новому итальянскому переводу) я рассуждал о реальных изменениях, происходящих как в самой природе индустриального производства, так и в технологиях управления, которые стали признавать законными зрелищные факторы. В 1988 году в “Комментариях к *Обществу спектакля*” было достаточно четко показано, что предшествовавшее “мировое разделение зрелищных задач” между соперничающими царствами “сосредоточенной театрализации” и “театрализации рассредоточенной” отныне завершилось их слиянием в общую форму “интегрированной театрализации”.

Это слияние может быть коротко подытожено в изменении тезиса 105, который, относившись к тому, что происходило до 1967 года, различал еще предшествующие формы в соответствии с определенными конкретными практиками. Теперь, когда Великий Раскол классовой власти завершился полным примирением, нужно сказать, что упорядоченная практика интегрированной театрализации сегодня “изменила мир экономически”, в *то время* как он сам “по-полицейски изменил восприятие”. Ведь в данных обстоятельствах и сама полиция претерпевает существенные преобразования.

Только потому, что подобное слияние произошло в экономико-политической реальности всего мира, мир, наконец, смог формально провозгласить себя единым. Но также и потому, что общая ситуация, в которой повсеместно возникало такое разделение власти, оказалась столь серьезной, миру необходимо было объединиться как можно скорее, чтобы единым блоком участвовать в одной и той же, основанной на консенсусе, организации мирового рынка, зрелищно *фальсифицированной* и обеспеченной. Но поэтому он, в конечном счете, так и не сможет объединиться.

Тоталитарная бюрократия, “господствующий класс в период перехода к рыночной экономике”, не очень-то верила в свою судьбу. Она знала, что является “недостаточно развитой формой господствующего класса” и хотела для себя лучшей доли. Тезис 58 еще раньше установил следующую аксиому: “Спектакль укоренен на территории экономики, ставшей изобильной, и именно из нее вызревают те плоды, что, в конце концов, стремятся полностью господствовать на рынке зрелищ.”

Именно эта воля к модернизации и унификации спектакля, связанная со всеми остальными аспектами упрощения общества, привела русскую бюрократию в 1989 году к тому, чтобы, вдруг, как один человек, обратиться к современной *идеологии* демократии – то есть, к диктаторской свободе Рынка, смягченной признанием Прав человека-зрителя. Никто на Западе и дня не посвятил обсуждению значения и последствий столь экстраординарного информационного события. И этим только подтверждается прогресс зрелищной технологии. Она должна лишь регистрировать явление, наподобие геологического толчка. Феномен датируется и считается совершенно понятным; впредь же воспроизводя только простейший сигнал – падение Берлинской стены, – не подлежащий обсуждению, как и все прочие *демократические сигналы*.

В 1991 году первые следствия модернизации проявились в полном распаде России. Там еще более откровенно, чем на Западе выражается катастрофический результат общего развития экономики. Хаос – лишь следствие такового. Повсюду ставится все тот же угрожающий вопрос – вопрос, который довлеет над миром вот уже два столетия: как заставить работать бедных там, где рассеялись иллюзии и рухнуло насилие?

Тезис 111, указывающий на первые симптомы упадка России, окончательному падению коей мы только что были свидетелями, и предсказывающий скорое исчезновение мирового сообщества, которое, говоря сегодняшним языком, будет стерто из памяти компьютера, высказал стратегическое суждение, справедливость которого легко почувствовать: “Мировое разложение союза бюрократической мистификации является сегодня, в конечном счете, наиболее неблагоприятным фактором для современного развития капиталистического общества.”

При чтении этой книги необходимо иметь в виду, что она была написана с сознательным намерением нанести ущерб обществу спектакля. В ней ничего не было преувеличено.

30 июня 1992 года.

Предисловие к 4-му итальянскому изданию “Общества спектакля”.

Переводы этой книги, впервые изданной в Париже в конце 1967 года, появились уже в десятке стран. Чаще всего в одной стране конкурирующие издательства выпускали в свет сразу несколько переводов, – как правило, все они были плохими. Первые переводы, где бы они ни появлялись, были неточными и неправильными, за исключением Португалии, и, может быть, Дании. Переводы на голландский и немецкий удались со второй попытки, хотя немецкий издатель и на этот раз пренебрег корректурой множества ошибок. Англичанам и испанцам нужно ждать третьего перевода, чтобы узнать, что я в действительности написал. Однако худшее ожидало нас в Италии, где в 1968 издательство *De Donato* выпустило в свет самый безобразный перевод из всех существующих; впоследствии он был лишь частично улучшен двумя другими конкурирующими

издательствами. Впрочем, Паоло Сальвадори, недолго думая, разыскал виновников этого произвола в их кабинетах, и задал им жару, в буквальном смысле, плюнул им в лицо: ибо так ведут себя хорошие переводчики при встрече с плохими. Достаточно сказать, что четвертый итальянский перевод, сделанный Сальвадори, оказался блестящим.

Крайняя несостоятельность стольких переводов, которые, за исключением четырех-пяти лучших, мною не контролировались, вовсе не доказывает того, что эта книга более сложна для понимания, чем какая-либо другая, которую и писать на самом деле не стоило. Вдобавок, нельзя сказать, что такая участь чаще всего постигает произведения подрывного характера, потому что, в этом конкретном случае, фальсификаторам, по крайней мере, не грозит судебный иск со стороны автора; а также потому, что привнесенный в текст идиотизм не вызовет особых попыток опровержения у идеологов буржуазии и бюрократии. Нельзя не заметить, что за последние годы большинство переводов, где бы они ни появлялись, и даже если речь идет о классиках, скроены на один манер. Наемный интеллектуальный труд обычно стремится следовать закону промышленного производства периода упадка, по которому доход предпринимателя напрямую зависит от скорости производства и от низкого качества используемого материала. Это производство с гордостью освободилось от всякой заботы о вкусе публики с тех пор, как, сконцентрировав капитал и наращивая технические мощности, оно удерживает монополию на не обеспеченное качеством предложение на всем рыночном пространстве, и со все большей наглостью спекулирует на вынужденном подчиненном положении спроса и потере вкуса, этой немедленной реакции у основной массы потребителей. Идет ли речь о квартире, говядине или о продукции невежественного переводчика, неизбежно напрашивается мысль о том, что теперь очень быстро и с гораздо меньшими затратами можно получить то, на что раньше потребовались бы долгие часы квалифицированного труда. А у переводчиков, и вправду, немного оснований корпеть над книгами, вдумываясь в их смысл, а перед этим – изучать их язык, поскольку почти все современные авторы и сами с очевидной поспешностью пишут книги, которые очень быстро выйдут из моды. Зачем же переводить то, чего не стоило писать, и что никто не прочтет? Именно с этой стороны своей специфической гармонии система спектакля безупречна, в остальном она терпит крах.

Однако эта столь привычная практика большинства издателей не годится для такой книги, как *Общество спектакля*, интересующей иную публику и служащей иным целям. Существуют, сейчас это ясно как никогда, книги разного рода. Многие из них даже не открывают, и лишь очень немногие цитируют на стенах. Эти последние обязаны своей популярностью и силой убеждения тому, что презираемые спектаклем инстанции о них не говорят или говорят скупом, между прочим. Индивидуумы, которым предстоит разыгрывать собственную жизнь по правилам, предписанным историческими силами, на службе у которых они состоят, конечно же, захотят изучить документы в безупречно точном переводе. Несомненно, в условиях нынешнего перепроизводства и сверхконцентрированного распространения книжной продукции, большинство произведений может иметь успех, а чаще неуспех, лишь в первые несколько недель после выхода в свет. Именно на этом средний представитель современного издательского дела строит и проводит в жизнь свою поспешную политику произвола, вполне годящуюся для книг, о которых что-то, причем не важно что, скажут лишь однажды. В данном случае этому издателю явно не удастся воспользоваться подобной привилегией: бессмысленно наспех переводить мою книгу, поскольку другие возобновят попытку, и хорошие переводы придут на смену плохим.

Французский журналист, тот, что недавно выпустил огромный труд с целью возобновить идейный спор, несколькими месяцами позже объяснял свое фиаско не столько дефицитом идей, сколько нехваткой читателей. Так, он заявил, что мы живем в не читающем обществе; что если бы Маркс сегодня опубликовал свой *Капитал*, ему пришлось бы прийти на телевидение, чтобы разъяснить свои намерения в вечерней литературной программе, а на следующий день о нем никто бы не вспомнил. Это забавное заблуждение хорошо отражает круг, его породивший. Естественно, если сегодня кто-то опубликует книгу, посвященную подлинной социальной критике, то он никогда не пойдет на телевидение и на любые беседы подобного рода; так что о его книге будут говорить и через десять, и через двадцать лет.

Сказать по правде, я думаю, что на свете нет никого, кто бы заинтересовался моей книгой, за исключением врагов существующего общественного строя и тех, кто действует в соответствии со своими убеждениями. Моя подкрепленная теорией уверенность на этот счет подтверждена эмпирическими наблюдениями за редкой критикой или аллюзиями, которые моя книга вызывает у тех, кто удерживает или всего-навсего силится обрести полномочия публично выступать в спектакле, говорить перед другими, хранящими молчание. Все эти специалисты по иллюзорным дискуссиям, которые мы все еще ошибочно называем культурологическими и политическими, выстроили свою логику и культуру на логике той системы, которая может их ангажировать; не только оттого, что они были ею избраны, но в основном потому, что они от начала и до конца сформированы этой системой. Среди цитировавших эту книгу, признавая ее важность, мне до сих пор не встречался никто, кто рискнул бы сказать, хотя бы в самой общей форме, о чем, собственно, идет речь: им нужно было лишь создать впечатление, что они в курсе дела. В то же время казалось, будто все, кто обнаружил в ней какой-то недостаток, им одним и ограничились, ибо ни о чем другом они не говорили. Всякий раз отдельного недостатка вполне хватало, чтобы удовлетворить нашедшего. Один упрекнул книгу в том, что в ней не затронуты проблемы Государства; другой в том, что она не считается с историей; третий отверг ее как иррациональный, неслыханный панегирик чистому разрушению; четвертый заклеил ее как тайное руководство всех правительств, образовавшихся со времени ее появления. Остальные пятьдесят незамедлительно пришли к диковинным выводам, равно свидетельствующим о сие разума. Где бы они ни писали об этом: в периодике, в книгах, в сочиненных по случаю памфлетах, – везде, за неимением лучшего, звучал все тот же тон капризного бессилия. А на заводах Италии, напротив, книга, насколько мне известно, нашла благодарных читателей. Рабочие Италии, которые сегодня могут подать пример своим товарищам во всех странах – своими неявками на работу, яростными забастовками, которых не смягчить отдельными уступками, – своим осознанным отказом от работы, презрением к закону и ко всем государственным партиям – достаточно хорошо ознакомились с содержанием *Общества спектакля* на практике, чтобы извлечь пользу из тезисов книги, прочитанной пусть даже в посредственном переводе.

Чаще всего комментаторы делали вид, будто не понимают, на что пригодна книга, которую невозможно отнести ни к одной категории интеллектуальной продукции, какую принимает во внимание все еще господствующее общество, ибо она не написана с точки зрения ни одной из поощряемых им профессий. Так что намерения автора показались неясными. Хотя здесь нет ничего таинственного. Клаузевиц писал во *Французской кампании 1815 года*: «Главное в любой стратегической критике – точно поставить себя на место действующих лиц; нужно признать, что это зачастую очень трудно. Основная масса стратегической критики

исчезла бы полностью или свелась бы к едва доступным для восприятия очертаниям, если бы только авторы захотели или смогли мысленно поставить себя на место действующих лиц.”

В 1967 году я хотел, чтобы у *Ситуационистского Интернационала (СИ)* была своя теоретическая книга. *СИ* был тогда экстремистской группой, предпринимавшей максимум усилий по внедрению революционных устремлений в современное общество; нетрудно было разглядеть, что эта группа, уже одержав победу на почве теоретической критики и, удачно применяя ее в практической агитации, приблизилась таким образом к кульминационной точке своей исторической миссии. Речь шла о том, чтобы эта книга участвовала в грядущих смутах, которые трансформировали бы ее на свой манер, неизбежно открывая тем самым самую широкую революционную перспективу.

Всем известна сильная склонность людей к бесполезному повторению упрощенных фрагментов старых революционных теорий, изношенность которых не заметна для них лишь потому, что они не пытаются применить их в сколь-нибудь эффективной борьбе за изменение условий, в которых они находятся в данный момент; в результате им не удается лучше понять, как эти теории, с разным успехом, могли использоваться в конфликтах прежних времен. Однако для тех, кто подходит к проблеме хладнокровно, не подлежит сомнению, что желающие действительно поколебать существующий общественный строй, должны сформулировать теорию, фундаментально разъясняющую его устройство; или, по меньшей мере, дать ему удовлетворительное объяснение. Как только эта теория будет обнародована, а произойдет это в условиях столкновений, нарушающих общественный покой – даже до того, как она будет понята и усвоена, – повсюду усилится недовольство. Доселе сдерживаемое, оно превратится в озлобленность уже при самом смутном представлении о том, что имеется теоретическое разоблачение существующего порядка вещей. И лишь тогда, преисполнившись гнева и начав вести освободительную войну, все пролетарии смогут стать стратегами.

Несомненно, рассчитанная на это общая теория должна, прежде всего, избегать возможности показаться заведомо ложной и, таким образом, не должна подвергаться риску быть опровергнутой самим ходом событий. Но, в то же время, нужно, чтобы теория эта была абсолютно недопустимой. Нужно, чтобы она, к возмущенному ошеломлению тех, кому нравится сама суть существующего миропорядка, могла разоблачить его, обнаружив его истинную природу. Теория спектакля отвечает двум этим требованиям.

Первое достоинство точной критической теории состоит в непрерывном высмеивании всех прочих теорий. Так в 1968 году, когда все остальные организованные течения, в порыве отрицания, ознаменовавшем начало упадка форм господства того времени, шли защищать собственную отсталость и мелкие амбиции, ни одно из них не имело книги современной теории, и не признавало ничего современного во власти класса, которую им предстояло свергнуть, а ситуационисты были способны выдвинуть единственную теорию страшного майского бунта; только она принимала во внимание яростное недовольство, о котором никто раньше не говорил. Кто оплакивает консенсус? Мы убили его. *Cosa fatta capo ha* *.

За пятнадцать лет до этого, в 1952 году, в Париже, четверо или пятеро господ с сомнительной репутацией, решили искать путей преодоления искусства. Смелое продвижение в выбранном направлении принесло счастливые плоды: оказалось, что старые линии укрепления, о которые разбивались прежние попытки социальной революции, теперь затоплены и перевернуты. Мы нашли повод возобновить попытку. Преодоление искусства – это продвижение на северо-запад

по географической карте истинной жизни, которую не переставали искать на протяжении более чем векового периода, в особенности, после возникновения современной саморазрушительной поэзии. Предыдущие попытки, в которых пропало без вести столько исследователей, никогда не открывали подобных перспектив. Возможно потому, что им на разграбление еще оставалось кое-что от старой творческой провинции а также и потому, что знамя революций до этого, казалось, держали другие, более опытные руки. Но никогда это дело не терпело столь сокрушительного поражения, не оставляло после себя столь пустынного поля боя, как в момент нашего появления. Я думаю, что воспоминания об этих событиях служат лучшим разъяснением идей и стиля *Общества спектакля*. Что касается самой этой вещи, если вы соблаговолите ее прочесть, то убедитесь: я не проспал и не растратил на пустые игры пятнадцать лет, проведенные в размышлениях о разрушении государства.

В этой книге нельзя менять ни слова; кроме трех-четырех опечаток все в ней осталось неизменным после двенадцати переизданий, выдержанных ею во Франции. Мне льстит сознание того, что я представляю чрезвычайно редкий для современности пример: я писал и не был тут же опровергнут обстоятельствами; меня не опровергли ни разу в то время, как все остальные были опровергнуты сотни и тысячи раз. Я не сомневаюсь, что выдвинутые мной положения найдут себе подтверждение в конце этого века и даже позже. Причина тому проста: я понял основополагающие факторы спектакля “в ходе развития и в соответствии с их эфемерным характером”, то есть, рассматривая в целом движение истории, которое смогло привести к установлению этого порядка, а теперь начинает его разрушать. На этой шкале одиннадцать лет, прошедшие с 1967 года, со всеми их конфликтами, известными мне не понаслышке, были лишь мгновением в неизбежных последствиях написанного; хотя для самого спектакля эти годы ознаменовались появлением и сменой шести или семи поколений мыслителей, одни из них оказались убедительнее других. За это время спектакль всего лишь более точно совпал со своим концептом, а реальное движение отрицания спектакля разрослось вширь и вглубь.

На самом деле, само общество спектакля добавило этой книге нечто, в чем она, думается мне, не нуждалась: еще более весомые и убедительные примеры. Мы могли наблюдать, как разрастается фальсификация, доходя до тривиальнейших вещей, словно липкий туман, сгустившийся над повседневностью. Мы видели, как возвели в абсолют, вплоть до “телематического” безумия, технический и полицейский контроль над людьми и силами природы, контроль, сбои в котором растут по мере совершенствования его технических средств. Мы видели, как развилась, в себе и для себя, государственная ложь, забыв о конфликтной связи с истиной и правдоподобием настолько, что теперь она может позабыть о самой себе и с каждым часом изменяться. Италия недавно имела возможность наблюдать эту технику, самый ее пик, в связи с событиями вокруг Альдо Моро и его убийством, однако и эта высота будет превзойдена, здесь или где-нибудь еще. Версии итальянских властей, скорее ухудшенной, нежели улучшенной сотней последовательных поправок, о чем считали своим долгом открыто заявить все комментаторы, не поверили ни на секунду. Ее задача состояла не в том, чтобы в нее поверили, а в том, чтобы быть единственной на витрине, и чтобы потом о ней забыли, как забывают о плохой книге.

Это было похоже на мифологическую оперу, поставленную с техническим размахом, где герои-террористы превращались то в лис, чтобы поймать свою добычу, то во львов, чтобы никого не бояться, пока жертва находится у них в лапах, то в баранов, чтобы все это не причинило ни малейшего вреда режиму, с

которым им предстоит померяться силами. Говорят, что им посчастливилось иметь дело с самой недееспособной полицией, так что им без труда удалось проникнуть в самые высокие сферы. В этом объяснении мало диалектики. Подрывная организация, которая связала бы своих членов с органами госбезопасности, если только она уже не внедрила их туда на несколько лет раньше, чтобы они лояльно выполняли свой долг до тех пор, когда этим можно будет воспользоваться, должна быть готова к тому, что ее манипуляторами время от времени тоже кто-то манипулирует; и таким образом, ей следует отказаться от олимпийской уверенности в собственной безнаказанности, столь характерной для руководителей штаба “красных бригад”. Но ко всеобщему одобрению своих сторонников, итальянское государство поступило еще лучше. Оно, как и любое другое государство, задумало внедрить агентов своих спецслужб в сеть подпольных организаций, где так легко впоследствии сделать быструю карьеру и занять место в руководстве, в первую очередь, свергая собственных начальников; так поступил с царской Охранкой Малиновский, обманувший даже ловкого Ленина, или Азеф, который, возглавив “боевую организацию” партии эсеров, непосредственно подготовил убийство премьер-министра Столыпина. Лишь одно злосчастное совпадение воспрепятствовало доброй воле государства: его секретные службы были расформированы. До сих пор секретные службы никогда не прекращали существование так, как, например, прекращается загрузка гигантского танкера в прибрежных водах или как исчезает доля современного промышленного производства в Севесо (Seveso). Сохранив свои архивы, своих доносчиков и действующих офицеров, они всего лишь сменили имя. Так итальянская Служба Военной Информации (S. I. M.), действовавшая при фашистском режиме, известная своим саботажем и заказными убийствами за рубежом, при христианских демократах стала Оборонной Службой Информации (S. I. D.). Впрочем, когда на компьютере было запрограммировано нечто вроде действующей модели “красной бригады”, этой мрачной пародии, от которой ждали мыслей и действий в случае необходимого исчезновения этого государства, сбой в программе (ведь известно, что все эти машины зависят от бессознательного тех, кто ими управляет) заставил присвоить единственному псевдо-концепту, автоматически воспроизведенному по модели “красной бригады”, все то же клеймо, которое в сокращении S. I. M. расшифровывается, на этот раз, как Национальное Общество Многонациональности. А S. I. D., “омытая итальянской кровью”, недавно подверглась роспуску; как признает государство – *post festum*, ведь именно эта служба, начиная с 1969 года, была прямым исполнителем длинной серии массовых убийств; как правило, но не всегда, это были взрывы, которые приписывались, поочередно, то анархистам, то неофашистам, то ситуационистам. Теперь, когда ту же самую работу, в кои-то веки, с гораздо большей продуктивностью, выполняют “красные бригады”, S. I. D., естественно, не может с ними справиться: не может, поскольку она распущена. В Секретной Службе, достойной этого названия, все секретно, даже ее ликвидация. Таким образом, невозможно разобраться, какой процент содеянного приписывать почетной отставке [S.I.D.], какой – “красным бригадам”, а какой (например, поджог кинотеатра в Абадане) – самому иранскому шаху; также нельзя определить, что было тайно уничтожено самим государством, возмущенным многократным перевыполнением собственных распоряжений. Стало ясно: отныне оно без колебаний будет убивать сыновей Брута, чтобы заставить уважать свои законы. Непреклонный отказ пойти ни малейшие уступки ради спасения Моро, в конце концов, стал доказательством незыблемых добродетелей республиканского Рима.

Джорджо Бокка, прославившийся лучшим аналитиком среди итальянских журналистов, в 1975 году первым попался на удочку *Правдивого Рапорта* Цензора, введя в заблуждение всю нацию или, во всяком случае, квалифицированных сотрудников газет, но не отступился от своей профессии, несмотря на столь досадное доказательство собственной наивности. То, что она была доказана путем такого научного эксперимента, возможно, стало для него благом, иначе мы бы не сомневались, что он написал из страха или продажности книгу *Моро – итальянская трагедия*, где поспешно заглатывает, не пропуская ни единой, все расхожие мистификации, чтобы тут же изрыгнуть их обратно, объявив превосходными. Он подходит к сути вопроса, естественно, ставя все с ног на голову, лишь однажды, в следующем пассаже: “Сегодня ситуация изменилась: имея за собой террор *красных бригад*, горстки рабочих-экстремистов могут противостоять или пытаться противостоять политике профсоюзов. Те, кто присутствовал на собраниях рабочих на таких заводах, как Альфа-Ромео в Арезе, могли наблюдать, как группам экстремистов, насчитывающим не более сотни участников, удалось разместиться в первом ряду и выкрикивать обвинения и оскорбления, а коммунистической партии пришлось с этим смириться.” Нет ничего понятнее того, что революционно настроенные рабочие оскорбляют сталинистов при почти единодушной поддержке своих товарищей. Что может быть естественнее, раз уж они собрались делать революцию? Неужели им, наученным долгим опытом, не известно, что для начала нужно прогнать сталинистов со всех собраний? Из-за того, что они не смогли этого сделать, в 1968 году потерпела крах революция во Франции, а в 1975 году – в Португалии. Будет полным безумием или мерзостью полагать, будто “горстки рабочих-экстремистов” могут достичь того необходимого уровня, когда за ними пойдут террористы. Совсем наоборот, именно из-за того, что большинство итальянских рабочих избежало вербовки в профсоюзно-сталинистскую полицию, и заработали “красные бригады”, чей непоследовательный и слепой терроризм мог лишь помешать рабочим. А средства массовой информации не упустили случая без тени сомнения признать в этом ускоренный отрыв рабочих от борьбы и вызывающее беспокойство поведение их руководителей. Бокка намекает, что сталинисты вынуждены сносить оскорбления, вполне заслуженные за последние шестьдесят лет, иначе террористы, которых держат в резерве независимые рабочие, грозят им физической расправой. Это всего лишь особенно грязная бокковская инсинуация, потому что до сих пор, и это всем известно, “красные бригады” последовательно воздерживались от личных расправ над сталинистами. Какую бы видимость они не создавали, периоды их активности не случайны и жертвы они выбирают не как им заблагорассудится. Такой климат позволяет констатировать неизбежный рост периферийного слоя мелкого открытого терроризма, который более или менее контролируют и пока еще терпят, откуда, как из рыбного садка, по желанию всегда можно выловить и подать на блюде несколько виновных; но “ударные силы” могли состоять только из профессионалов; об этом свидетельствует каждая деталь их стиля.

Итальянский капитализм, а вместе с ним и его правительственный персонал, значительно расходятся во мнениях по вопросу жизненно важному и в высшей степени туманному – вопросу, касающемуся использования сталинистов. Некоторые современные сектора крупного частного капитала поддерживали и по сей день решительно поддерживают эту идею, другие, пользующиеся ощутимой поддержкой финансового руководства предприятий с долей государственного участия, настроены более враждебно. Высшие государственные чиновники имеют значительную свободу действий: ведь когда корабль получил пробоину, решения капитана важнее воли судовладельца, – однако и в их рядах нет единства.

Будущее каждого клана зависит от того, насколько ему удастся навязать свои доводы, доказывая их на практике. Моро верил в “ исторический компромисс” , то есть в способность сталинистов окончательно разбить революционное рабочее движение. Представители другого направления, те, которые в настоящее время командуют руководителями “красных бригад”, не верили в это или, по меньшей мере, считали, что не стоит слишком беречь сталинистов ради жалких услуг, которые те оказали или еще окажут, что их нужно грубее подстегивать, чтобы они не наглели. Как видно, этот анализ отнюдь не бесполезен. Похищение Моро стало началом ударов по “ историческому компромиссу” , воплотившемуся наконец в парламентском акте, а сталинская партия продолжала прикидываться, что верит в независимость “ красных бригад” . Заложнику сохраняли жизнь до тех пор, пока верили в возможность продолжать унижение и замешательство его друзей, которые подвергались шантажу и благородно лишались чувств, будучи не в состоянии понять, чего ждут от них неведомые варвары. С ним тут же покончили , стоило лишь сталинистам показать зубы, публично заговорив о “ темных делах” ; Моро умер в разочаровании. На самом деле, у “ красных бригад” другие, гораздо более широкие функции и интересы: они состоят в приведении в замешательство или дискредитации пролетариев, реально поднявшихся против государства, и, возможно, даже ликвидации некоторых из них, наиболее опасных. Сталинисты одобряют эту функцию, ибо она облегчает их нелегкую задачу. Если то, что задевает их самих, переходит границы, они стараются это пресечь: путем публичных выступлений в подходящий момент, где обиняком протаскивают инсинуации, или через конкретные угрозы, которые выкрикиваются во время закрытых переговоров с государственной властью. Их основное оружие разубеждения – в возможности внезапно сказать все, что им известно о “ красных бригадах” с самого момента их создания. Однако всем ясно, что они не смогут воспользоваться этим оружием, не нарушив “ исторического компромисса” ; и что, таким образом, они сами искренне желают хранить молчание о былых подвигах самого *S. I. D* . Что сделает со сталинистами революция? Мы продолжаем их теснить, хотя и без размаха. Когда, через десять месяцев после похищения Моро, та же непобедимая “ красная бригада” впервые убила синдикалиста-сталиниста, так называемая коммунистическая партия отреагировала мгновенно, но лишь на уровне протокола, угрожая своим союзникам принуждением представлять себя отныне партией, лояльной и конструктивной, но находящейся на стороне большинства, а не на стороне и в большинстве.

Горбатого могила исправит, и сталинист всегда будет чувствовать себя как рыба в воде повсюду, где пахнет скрытым государственным преступлением. Чем их может оскорбить атмосфера дискуссий в верхах итальянской власти, когда за пазухой они держат нож, а под столом – бомбу? Не в этом ли стиле улаживались споры, к примеру, между Хрущевым и Берия, Кадаром и Надем, Мао и Линь Бяо? А впрочем, сами руководители итальянского сталинизма в молодости были мясниками, во времена их первого исторического компромисса, когда, вместе с другими служащими “Коминтерна”, они взяли на себя ответственность за контрреволюцию на службе у Испанской демократической республики в 1937 году. Не кто иной, как их собственная “ красная бригада” похитила Андреса Нина и убили в одной из секретных тюрем.

Эти печальные факты, доподлинно известные многим итальянцам, как и многие-многие другие, тотчас вышли на поверхность. Но их нигде не обнародовали, так как у одних не было возможности, а у других – желания это сделать. Именно в этой точке анализа мы решили апеллировать к “ зрелищной” политике терроризма , и не потому, что иногда террористы действуют лишь ради того, чтобы о них заговорили, как не перестают вульгарно утверждать журналисты

и профессора, побуждаемые услужливой деликатностью. Италия отражает в себе социальные противоречия всего мира и пытается, известными методами, объединить в одной стране в рамках Священного Карательного Союза правящий буржуазный и тоталитарно-бюрократический класс, который уже открыто действует во всем мире, при экономической и полицейской поддержке всех государств; хотя и здесь не обходится без некоторых споров и сведения счетов “по-итальянски”. Италия, будучи сегодня страной, наиболее продвинувшейся в скольжении к пролетарской революции, одновременно является самой современной лабораторией международной контрреволюции. Другие правительства, вышедшие из старой буржуазной “до-спектаклевой” демократии, с восторгом смотрят на итальянское правительство, на невозмутимость, которую ему удастся сохранять в самом эпицентре всех разрушений, на спокойное достоинство, с которым оно восседает в грязи. Это умение им предстоит применять у себя в течение долгого времени.

На самом деле, правительства, а также подвластные им и дублирующие их службы, повсюду стремятся стать еще скромнее. Объятые ужасом, они довольствуются уже тем, что выдают за спокойную рутину текущие дела, находящиеся под их управлением, с помощью трюков: этот процесс становится все более странным и выходит из под их контроля. Вслед за ними, согласно духу времени, сам зрелищный товар претерпел удивительные изменения в типе ложного доказательства. Он представлял в качестве исключительных благ, ключа к высшему, чуть ли не элитарному, существованию, вещи самые что ни на есть обыкновенные и посредственные: автомобиль, ботинки, кандидатскую степень по социологии. Сегодня он вынужден представлять нормальными и хорошо знакомыми вещи, ставшие по-настоящему неординарными. О чем речь? О хлебе, вине, помидорах, яйцах, домах и городах? Конечно же, нет, поскольку цепь внутренних трансформаций, временно экономически выгодная тем, кто удерживает средства производства, сохранила этим вещам имя и, по большей части, форму, начисто лишив их вкуса и содержания. Однако с полной уверенностью можно сказать, что различные потребляемые блага неизменно отвечают традиционным требованиям, и это доказывается тем фактом, что ничего другого больше не существует, а значит не с чем больше сравнивать. Получилось так, что очень немногие знают, как найти истину там, где она еще существует, и что ложное может законно называть себя истинным, при исчезновении последнего. Принцип, господствующий в сфере продовольствия и жилья, распространяется на все без исключения, вплоть до книг или последних подобию демократических дебатов, что мы и пытаемся продемонстрировать.

Основное противоречие в господстве спектакля во время кризиса состоит в том, что оно потерпело крах в в своей сильнейшей позиции: в удовлетворении элементарных материальных потребностей, исключавших прочие, но считавшихся достаточными, чтобы снискать воспроизводимое одобрение массы производителей-потребителей. Но именно удовлетворение материальных потребностей было запачкано и перестало им обеспечиваться. Общество спектакля повсюду начиналось с принуждения, с обмана, с крови; но при этом оно сулило счастливое продолжение. Оно думало, что его любят. Теперь оно больше ничего не обещает. Оно больше не говорит: “Все, что явлено – хорошо, все, что хорошо – явлено.” Оно просто говорит: “Вот так-то.” Оно откровенно сознается в том, что в сущности уже не поддается изменениям; хотя сама его природа-это изменения: дурная трансмутация каждой отдельной вещи. Оно утратило все общие иллюзии о себе самом.

Все эксперты по управлению и все их компьютеры объединились в постоянном мультидисциплинарном совете, чтобы найти средство излечить больное

общество, или, по крайней мере, до наступления комы поддерживать его в том же состоянии, сохраняя видимость выживания, как у Франко или Бумедьена. Старая тосканская народная песенка говорит об этом короче и мудрее: *“E la vita non ù la morte, – E la morte non ù la vita. – La canzone ù gia finita.”**

Тот, кто внимательно прочтет эту книгу, увидит, что она не дает никаких гарантий победы революции, как и длительности существования ее свершений, и тернистых путей, которыми ей предстоит пройти, и еще меньше гарантий ее способности, подчас легкомысленно преувеличенной, принести каждому полное счастье. Менее, чем всякая другая, моя историческая и стратегическая концепция может полагать, что жизнь должна быть совершенной идиллией лишь потому, что нам это будет приятно; что лишь злопыхательство нескольких властей предержавших служит виной очередных бед. Каждый воспитан на собственных творениях; пассивность отходит ко сну, как только приготовит себе ложе. Самый значительный результат катастрофического разложения классового общества в том, что, впервые в истории, преодолен старый вопрос о том, насколько большинство людей любит свободу: теперь они будут вынуждены ее полюбить.

Нужно лишь признать сложность и размах задач революции, которая стремится к установлению и сохранению бесклассового общества. Она может с достаточной легкостью начаться повсюду, где автономные пролетарские собрания не будут признавать никакой другой власти, кроме собственной, и ничьей собственности, где, ставя свою волю выше любых законов и специализаций, они запретят разделение людей, рыночную экономику и Государство. Но победа будет одержана лишь тогда, когда революция наступит повсеместно, не оставив ни пяди земли существующим формам общества отчуждения. И тогда мы вновь увидим Афины и Флоренцию, открытые для всех, раскинувшиеся по всему мировому пространству, которые, победив своих врагов, смогут с радостью посвятить себя подлинным разногласиям и бесконечными столкновениям исторической жизни.

Кто может верить в исход, менее радикальный в своей реалистичности? Под каждым проектом и каждым результатом нелепого и несчастливого настоящего можно написать слова *Менэ, Текел, Фарес* – “взвешено, измерено, сосчитано”, объявляющие неминуемый крах всех призрачных городов. Дни этого общества сочтены; его основания и достоинства были взвешены, и оказались слишком легкими; его обитатели разделились на две части, одна из которых хочет его исчезновения.

Январь 1979

Глава 1. Завершенное разделение.

“Несомненно, наше время... предпочитает образ – вещи, копию – оригиналу, представление – действительности, видимость – бытию... Ибо для него священна только иллюзия, истина же профана. Более того, в глазах наших современников святость возрастает в той мере, в какой уменьшается истина, и растет иллюзия, так что высшая степень иллюзорности представляет для них высшую степень святости.”

1.

Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение *спектаклей*. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление.

2.

Образы, которые отслаиваются от каждого аспекта жизни, сливаются в одном непрерывном движении, в котором единство этой жизни уже не может быть восстановлено. Реальность, рассматриваемая *по частям*, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве *особого* псевдо-мира, подлежащего только созерцанию. Специализация образов мира оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где обманщик лжет себе самому. Спектакль вообще, как конкретная инверсия жизни, есть автономное движение неживого.

3.

Спектакль одновременно представляет собой и само общество, и часть общества, и *инструмент унификации* общества. Как часть общества он явно выступает как сектор, сосредотачивающий на себе всякий взгляд и всякое сознание. По причине самой своей *обособленности* этот сектор оказывается средоточием заблуждающегося взгляда и ложного сознания; а осуществляемая им унификация – не чем иным, как официальным языком этого обобщенного разделения.

4.

Спектакль – это не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, опосредованное образами.

5.

Спектакль нельзя понимать ни как злоупотребление неким миром визуальности, ни как продукт массированного распространения образов. Скорее, это мировоззрение, *Weltanschauung*, ставшее действенным и выраженным материально. Это объективировавшееся видение мира.

6.

Спектакль, взятый в своей тотальности, есть одновременно и результат, и проект существующего способа производства. Он не является неким дополнением к реальному миру, его надстроенной декорацией. Он есть средоточие нереальности реального общества. Во всех своих частных формах, будь то информация или пропаганда, реклама или непосредственное потребление развлечений, спектакль конституирует наличную *модель* преобладающего в обществе образа жизни. Он есть повсеместное утверждение выбора, уже *осуществленного* в производстве, и его последующее применение. Аналогично этому, форма и содержание спектакля служат тотальным оправданием условий и целей существующей системы. Но спектакль является еще и *перманентным присутствием* этого оправдания, ибо он занимает основную часть времени, проживаемого вне рамок современного производства.

7.

Разделение само является частью единства мира, совокупной социальной практики, расщепляющейся на образ и действительность. А социальная практика, перед которой разыгрывается не зависящий от нее спектакль, есть так

же и реальная целостность, которая содержит в себе спектакль. Но расщепление этой целостности до такой степени калечит ее, что вынуждает представлять сам спектакль как ее цель. Язык спектакля конституируется

посредством *знаков* господствующего производства, в то же самое время являющихся и конечной целью этого производства.

8.

Нельзя отвлеченно противопоставлять спектакль и производительную общественную деятельность, ибо это раздвоение само раздвоено. Спектакль, оборачивающий реальное, в действительности является произведенным. В то же время переживаемая действительность материально заполняется созерцанием спектакля и в себе самой воспроизводит зрительный порядок, придавая ему позитивное обоснование. Объективная реальность предстает с двух сторон. Каждое понятие, подобным образом закрепленное, основано лишь на переходе в противоположное, и, таким образом, действительность возникает в спектакле, а спектакль является действительностью. Это взаимное отчуждение есть сущность и опора существующего общества.

9.

В *реально обращенном* мире истинное есть момент ложного.

10.

Понятие спектакля объединяет и объясняет огромное разнообразие видимых явлений. Их различия и контрасты являются мнимостями этой социально организованной видимости, которая сама должна быть признана в своей всеобщей истинности. Спектакль, рассматриваемый сообразно его собственной организации, есть *утверждение* видимости и утверждение всякой человеческой, то есть социальной жизни, как простой видимости. Но критика, которая добирается до истины спектакля, выявляет его как видимую *негацию* жизни, как отрицание жизни, *ставшее видимым*.

11.

Чтобы описать спектакль, его формирование, функции и силы, стремящиеся к его распаду, нужно искусственно различать неразделимые элементы. *Анализируя* спектакль, мы в какой-то мере говорим самим языком спектакля, тем самым переходя на методологическую территорию того общества, которое и выражает себя в спектакле. Но спектакль есть не что иное, как смысл целостной практики определенной социально-экономической формации, ее способ *распределения времени*. Это как раз тот исторический момент, что включает нас.

12.

Спектакль предстает как одна огромная позитивность, неоспоримая и недоступная. Он не говорит ничего, кроме того, что “то, что является – благо, и то, что благо – является”. Отношение, которого он в принципе требует, есть то пассивное приятие, каковое он уже фактически обрел благодаря своей манере являться без возражений, обладая монополией на явленное.

13.

Фундаментально тавтологический характер спектакля вытекает из того простого факта, что его средства представляют собой в то же время и его цель. Он – солнце, никогда не заходящее над империей современной пассивности. Он покрывает всю поверхность мира и беспредельно купается в собственной славе.

14.

Общество, базирующееся на современной индустрии, не является зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является *зрительским*. В спектакле – этом образе господствующей экономики, цель есть ничто, развитие – все. Спектакль не стремится ни к чему иному, кроме себя самого.

15.

И в качестве необходимого украшения производимых сегодня предметов, и в качестве общего обоснования рациональности системы, и в качестве передового сектора экономики, непосредственно фабрикующего все возрастающее

множество образов- объектов, спектакль есть *основное производство* современного общества.

16.

Спектакль подчиняет себе живых людей в той мере, в какой их уже всецело подчинила экономика. Он есть не что иное, как экономика, развивающаяся ради самой себя. Он представляет собой верное отражение производства вещей и неверную объективацию производителей.

17.

Первая фаза господства экономики над общественной жизнью в отношении определения любого человеческого творения повлекла за собой очевидное вырождение *быть* в *иметь*. Настоящая фаза тотального захвата общественной жизни накопленными плодами экономики ведет к повсеместному сползанию *иметь* в *казаться*, из которого всякое действительное “иметь” должно получать свое высшее назначение и свой непосредственный престиж. В то же время всякая индивидуальная реальность становится социальной, непосредственно зависящей от общественной власти и ею же сфабрикованной. Только в том, что она *не есть*, ей и дозволено являться.

18.

Там, где реальный мир раскладывается на элементарные образы, элементарные образы становятся реальными сущностями, а действительные мотивации – гипнотическим поведением. Спектакль, как тенденция предъясвлять мир, который уже не схватывается непосредственно, через различные специализированные опосредования, полагает зрение привилегированным человеческим чувством, каковым в прежние эпохи было осязание. Это самое абстрактное, наиболее подверженное мистификации чувство соответствует общей абстрактности современного общества. Но спектакль нельзя просто отождествлять со зрением, даже в сочетании со слушанием. Он есть то, что ускользает от деятельности людей, от пересмотра и исправления их творчества. Он противоположен диалогу. Повсюду, где существует независимая *репрезентация*, воссоздается спектакль.

19.

Спектакль – наследник всей *слабости* западного философского проекта, представлявшего собой понимание деятельности, в котором первенство принадлежало категориям *въ деня*; подобно этому сегодня он базируется на непрерывном развертывании точной технической рациональности, происшедшей из этого образа мысли. Он не делает реальной философию – он философизует реальность. И конкретная жизнь каждого вырождается в *умозрительный* космос.

20.

Философия, как власть обособленного мышления и мышление обособленной власти, сама по себе никогда не могла превзойти теологию. Спектакль – это материальная реконструкция религиозной иллюзии. Зрелищная техника не развеяла облака религии, куда прежде люди помещали собственные отделенные от них способности, – она лишь вновь связала их с земной юдолью. Таким образом самая что ни на есть земная жизнь становится непроницаемой и затхлой. Она уже не отсылает на небеса, но лелеет у себя свою абсолютную отверженность, свой обманчивый рай. Спектакль – это техническая реализация изгнания человеческих способностей в потустороннее – заверщенное расщепление внутри человека.

21.

По мере того, как необходимость оказывается социально пригрезившейся, греза становится необходимостью. Спектакль есть дурной сон закабаленного

современного общества, который, в конечном счете, выражает лишь только его желание спать. И спектакль – страж этого сна.

22.

То, что практическая мощь современного общества отделилась от себя самой, и из спектакля была построена некая независимая империя, объясняется только тем, что этой мощной производительной практике все-таки не хватало связности, и она так и продолжала оставаться в противоречии с самой собой.

23.

В корне спектакля – древнейшая общественная специализация, специализация власти. Таким образом, спектакль является специализированным родом деятельности, заключающейся в том, чтобы говорить от имени других. Это дипломатическое представительство иерархического общества перед самим собой, откуда устраняется всякое иное слово. И здесь самое современное – это также самое архаическое.

24.

Спектакль – это непрерывная речь, которую современный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти в эпоху ее тоталитарного управления условиями существования. В отношении спектакля фетишистская видимость чистой объективности скрывает их характер межчеловеческих и межклассовых отношений; поэтому кажется, будто вторая природа своими фатальными законами подчиняет себе наше окружение. Но спектакль не является тем необходимым продуктом технологического развития, которое рассматривается как развитие *естественное*. Напротив, общество спектакля представляет собой форму, избирающую собственное технологическое содержание. Если спектакль, взятый в ограниченном аспекте “средств массовой коммуникации”, самым подавляющим из его поверхностных проявлений, может казаться заполняющим общество как простой инструментарий, то факт этого не есть нечто нейтральное: этот инструментарий свойственен его тотальному саморазвитию. Если в эпоху, когда развиваются подобные технические средства, общественные потребности могут удовлетворяться только лишь через их опосредование, если административное управление этим обществом и любые сношения между людьми могут осуществляться теперь только через посредничество этой власти мгновенного сообщения, то это только потому, что это “сообщение”, в сущности, является *однаправленным*, так что его концентрация ведет к накоплению в руках администрации существующей системы средств, которые и позволяют ей продолжать это, уже предопределенное, администрирование. Повсеместное расщепление, производимое спектаклем, неотделимо от современного *Государства*, то есть от обобществленной формы социального расслоения, продукта общественного разделения труда и орудия классового господства.

25.

Разделение есть альфа и омега спектакля. Институционализация общественного разделения труда, формирование классов сконструировало первое сакральное созерцание, мифический строй, в который изначально облеклась всякая власть. Священное оправдывало космический и онтологический порядок, который соответствовал интересам господ, оно растолковывало и приукрашивало то, что общество *не могло осуществить*. Следовательно, всякая разделенная власть была зрительной, но всеобщая приверженность такому неподвижному образу означала только всеобщее признание за бедными права на воображаемое продолжение реальной общественной деятельности, еще широко ощущаемой как объединяющее условие. Современный спектакль, наоборот, выражает то, что общество *может осуществить*, но в этом выражении

дозволенное абсолютно противопоставляется *возможному*. Спектакль – это сохранение бессознательности при практическом изменении условий существования. Он является собственным продуктом и сам учреждает собственные правила: он – псевдо-сакральное. Он демонстрирует то, что он *есть* – мощь общественного разделения, развивающаяся сама по себе, во всевозрастающей производительности, через постоянное увеличение изощренности в разделении труда, через дробление жестов, теперь подчиненных независимому движению машин; мощь, работающая ради непрерывно расширяющегося рынка. Всякая общность и всякое критическое чувство размываются в процессе этого движения, в котором силы, которые могли бы расти посредством разделения, еще не *обретены*.

26.

С возведенным в принцип разделением трудящегося и его продукта утрачивается всякая единая точка зрения на выполняемую деятельность, всякая прямая личная коммуникация между производителями. В соответствии с прогрессирующим накоплением отделенных продуктов и концентрацией процесса производства, единство и коммуникация становятся исключительным атрибутом управления системой. Результатом экономической системы разделения является *пролетаризация* мира.

27.

Благодаря самому успеху разделенного производства в качестве производства разделенного фундаментальный опыт, связанный в примитивных обществах с неким основным трудом, сейчас перемещается от полюса, стимулирующего развитие системы, к некоему не-труду, к бездеятельности. Но эта бездеятельность ни в чем не свободна от производственной деятельности – напротив, она от нее зависит, она есть тревожное и восторженное подчинение потребностям и результатам производства, она сама является продуктом его рациональности. Невозможна свобода вне деятельности, но в рамках спектакля всякая деятельность отрицается, равно как реальная деятельность оказывается полностью захваченной ради повсеместного достижения подобного результата. Таким образом, современное “освобождение труда”, увеличение досуга никоим образом не является освобождением в труде, как и освобождением созданного этим трудом мира. Ничто из похищенной из труда активности не может быть обретоено вновь в подчинении его результату.

28.

Экономическая система, основанная на разобщении, есть *циклическое* производство разобщения. Разобщение служит основанием для технологии, а технологический процесс, в свою очередь, служит разобщению. От автомобиля до телевизора, все *блага, селекционированные* зрительской системой, служат также ее орудиями для постоянного упрочения условий разобщенности “одиноких толп”. Спектакль снова и снова с всевозрастающей конкретностью воспроизводит свои собственные предпосылки.

29.

Истоком спектакля является утрата единства мира, и гигантская экспансия современного спектакля выражает полноту этой утраты: абстрагирование всякого частного труда и всеобщее абстрагирование совместного производства прекрасно передаются в спектакле, чей *конкретный способ существования* как раз и является абстрагированием. В спектакле одна часть мира *представляет себя* перед всем миром и является высшей по отношению к нему. Спектакль есть лишь обыденный язык этого разделения. То, что объединяет зрителей, представляет собой лишь необратимую связь с тем самым центром, который и поддерживает их

разобщение. Спектакль воссоединяет разделенное, но воссоединяет его в *качестве разделенного*.

30.

Отчуждение зрителя в пользу созерцаемого объекта (который является результатом его собственной бессознательной деятельности) выражается следующим образом: чем больше он созерцает, тем меньше он живет, чем больше он соглашается признавать себя в господствующих образах потребностей, тем меньше он понимает собственное существование и собственное желание. Внешний характер спектакля по отношению к человеку действующему проявляется в том, что его собственные поступки принадлежат уже не ему самому, но другому – тому, кто ему их представляет. Вот почему зритель нигде не чувствует себя дома, ибо повсюду – спектакль.

31.

Трудящийся не производит самого себя, он производит некую независимую мощь. *Успешность* этого производства, его избыточность, возвращаются к производителю как *избыточность обездоленности*. С накоплением его собственных отчужденных продуктов все время и пространство его мира становятся ему *чуждыми*. Спектакль – это карта этого нового мира; карта, в точности покрывающая его территорию. Те самые силы, которые уже ускользнули от нас, теперь во всем могуществе *демонстрируют себя* нам.

32.

В обществе спектакль соответствует конкретному производству отчуждения. Экономическая экспансия и является, главным образом, экспансией этого конкретного индустриального производства. То, что возрастает вместе с экономикой, развивающейся ради себя самой, может быть лишь все тем же отчуждением, существовавшим в ее первоначальном ядре.

33.

Человек, отделенный от продукта своего труда, во все более высокой степени сам производит все части своего мира, и таким образом оказывается все более и более отделенным от своего мира. Сегодня, чем больше его жизнь является его продуктом, тем больше он отделяется от собственной жизни.

34.

Спектакль есть *капитал* на той стадии накопления, когда он становится образом.

Глава 2. Товар как спектакль.

“Ведь только как универсальная категория всего общественного бытия, товар может быть понят в своей подлинной сущности. Лишь в этом контексте овеществление, возникшее из товарных отношений, приобретает решающее значение, как для объективного развития общества, так и для отношения людей к нему, для подчинения их сознания формам, в которых выражается это овеществление ... Это подчинение, к тому же, только усиливается от того, что чем

далее заходит процесс рационализации и механизации труда, тем больше деятельность трудящегося теряет характер деятельности, превращаясь в созерцательное отношение.”

Дьердь Лукач “История и классовое сознание”.

35.

В самом этом сущностном развитии спектакля, заключающемся в непрерывном перехватывании всего того, что в человеческой деятельности существовало в *текущем состоянии*, для заполнения его в состоянии застывшем, в качестве вещей, которые посредством *отрицательной переформулировки* жизненных ценностей становятся исключительной ценностью, – мы узнаем старого врага, который столь хорошо умеет казаться, на первый взгляд, чем-то простым и само собой разумеющимся, тогда как на самом деле он, напротив, полон причуд и метафизических тонкостей, – товар.

36.

Именно принцип товарного фетишизма, общественное господство посредством “вещей скорее сверхчувственных, чем чувственных” безоговорочно соблюдается в спектакле, где мир чувственный оказывается замещенной существующей над ним выборкой образов, что одновременно выдает себя за чувственное *par excellence*.

37.

Демонстрируемый спектаклем мир, одновременно присутствующий и отсутствующий, есть мир товара, господствующего над всем, что переживается. И таким образом, мир товара показывается таким, *каков он есть*, ибо его движение тождественно *отдалению* людей друг от друга и в отношении к их собственному совокупному продукту.

38.

Утрата качества, столь очевидная на всех уровнях языка спектакля, объекты, которые он восхваляет, и способы поведения, которые он предписывает, как раз представляют основные признаки реального производства, отстраняющего действительность: ведь товарная форма во всем являет равенство самой себе, это количественная категория. Только количественное она развивает, и только на него и может разлагаться.

39.

Такое развитие, исключаящее качественное, раз уж оно является развитием, само подчинено качественному скачку, ибо спектакль означает то, что это развитие превзошло порог *собственной избыточности*. Последнее утверждение верно лишь отчасти, пока лишь в нескольких точках, но уже является истинным и во всемирном масштабе, который сам представляет собой первоначальное товарное отношение, исходную связь, которую только подтвердило ее практическое развитие, воссоединившее Землю как мировой рынок.

40.

Развитие производительных сил было *реальной бессознательной историей*, которая создала и видоизменила условия существования человеческих сообществ как условий выживания, а также расширяла рамки этих условий, ибо являлось экономическим основанием всех их предприятий. Товарный сектор внутри естественной экономики был организацией некоего избытка выживания. Товарное производство, предполагающее обмен разнообразными продуктами между независимыми производителями, еще долго могло оставаться

ремесленным, пребывая заключенным в маргинальной экономической функции, в которой его чисто количественная истина оставалась замаскированной. Однако там, где оно встретило общественные условия для обширной торговли и накопления капиталов, оно захватило полное господство над экономикой. Тогда вся экономика целиком стала тем, чем проявил себя товар в ходе такого завоевания – процессом количественного развития. Это непрекращающееся развертывание экономической мощи в форме товара, преобразившее человеческий труд в труд-товар, в *наемный труд*, в порядке накопления приводит к избыточности, при которой первоначальный вопрос о выживании, несомненно, оказывается решенным, но так, что он постоянно должен обнаруживать себя и каждый раз ставиться заново на более высокой ступени. Экономический рост освобождает общества от давления природной среды, требовавшего от них непосредственной борьбы за выживание, но теперь они оказываются не свободными именно от своего освободителя. *Независимость* товара распространилась на всю экономическую систему, над которой он господствует. Экономика преобразует мир, но преобразует его только в мир экономики. Та псевдоприрода, в какую был отчужден труд человека, требует до бесконечности продолжать ее *обслуживание*, и это обслуживание, которое оценивается и оправдывается только им самим, на самом деле получает в качестве своих служителей всю тотальность общественно узаконенных проектов и усилий. Избыточность товаров, то есть товарных отношений, может теперь быть только *прибавочной стоимостью выживания*.

41.

Каким-то таинственным образом товар сначала утвердил свое господство в экономике, которая сама в качестве материальной базы общественной жизни оставалась не воспринятой и не понятой, как давний, однако, неузнанный знакомый. В обществе, где конкретный товар остается редким или играет второстепенную роль, именно видимое господство денег представляет себя в качестве посланника, наделенного полномочиями и выступающего от имени неведомой силы. Но вместе с промышленной революцией, мануфактурным разделением труда и массовым производством, ориентированным на мировой рынок, товар проявляется действительно как сила, которая фактически *заполняет* всю общественную жизнь. Именно в этот момент политическая экономия и конституируется как господствующая наука и как наука о господстве.

42.

Спектакль – это стадия, на которой товару уже удалось добиться *полного захвата* общественной жизни. Отношение к товару не просто оказывается видимым, но теперь мы только его и видим: видимый нами мир – это его мир. Современное экономическое производство распространяет свою диктатуру и вширь и вглубь. В самых мало индустриализованных уголках планеты его царствие уже ощущается через наличие нескольких товаров-звезд и империалистического господства зон, лидирующих в развитии производительности. В этих передовых зонах общественное пространство заполнено непрерывным геологическим напластованием товаров. На этом этапе “второй индустриальной революции” отчужденное потребление становится некоей обязанностью масс, дополнительной по отношению к отчужденному производству. Весь без исключения *продаваемый труд* общества повсеместно становится *тотальным товаром*, чье циклическое воспроизведение должно продолжаться. Ради этого, нужно, чтобы такой тотальный товар по частям возвращался к фрагментарному индивиду, абсолютно отделенному от производительных сил, действующих как целостная система. Следовательно, именно здесь специализированная наука о господстве должна, в свою очередь,

специализироваться – и она дробится на социологию, психотехнику, кибернетику, семиотику и т. д. и т. п., на всех уровнях контролируя саморегуляцию процесса.

43.

Тогда как на первоначальной фазе капиталистического накопления “политическая экономия видела в *пролетарии* лишь *рабочего*”, который должен получать необходимый минимум для поддержания своей рабочей силы, совершенно не рассматривая его “в его досуге, в его человеческом качестве”, это идейная позиция господствующего класса оборачивается сразу же, как только степень избыточности, достигнутая в производстве товаров, требует от рабочего избытка соучастия. Этот рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения, на что ему явственно указывают все способы организации производственного процесса и контроля, за пределами последних ежедневно и явно обнаруживает, что в качестве потребителя с ним, с впечатляющей вежливостью, обращаются как с важной персоной. То есть *товарный гуманизм* принимает в расчет “досуг и человеческий облик” трудящегося просто потому, что политическая экономия сегодня может и должна господствовать над этими сферами как *экономия политическая*. Таким образом, “завершившееся отрицание человека” берет под свой контроль всю полноту человеческого существования.

44.

Спектакль – это перманентная опиумная война, ведущаяся с целью добиться принятия тождества благ с товарами, а удовлетворения – с порогом выживания, возрастающим согласно собственным законам. Но если потребляемое выживание есть то, что всегда должно возрастать, так это потому, что оно постоянно *содержит в себе лишение*. Если нет ничего по ту сторону возрастающего по стоимости выживания, никакой точки, где бы оно могла прекратить свой рост, то это именно потому, что оно не является потусторонней по отношению к лишению, потому что оно и есть это, только ставшее еще более дорогим, лишение.

45.

С автоматизацией, которая представляет собой одновременно и самый развитой сектор современной индустрии, и модель, в которой полностью подытоживается ее деятельность, стало необходимым, чтобы мир товара преодолел следующее противоречие: техническое оборудование, объективно отменяющее труд, должно в то же время сохранить *труд как товар* и как единственное место рождения товара. Для того, чтобы автоматика, или любая другая, менее радикальная форма повышения производительности труда, в действительности не уменьшала в масштабе общества время необходимого общественного труда, необходимо создавать новые рабочие места. Третичный сектор – сектор услуг – и представляет собой гигантское растягивание эшелонированных линий распределения и восхваления современных товаров, мобилизацию дополнительных сил, которая самой искусственностью потребностей, относящихся к таким товарам, очень хорошо соответствует необходимости подобной организации подсобного труда.

46.

Меновая стоимость могла сформироваться лишь как агент потребительной стоимости, но ее победа посредством собственного оружия создала условия для ее автономного господства. Мобилизуя всякое человеческое потребление и захватывая монополию на его удовлетворение, она дошла до того, чтобы *управлять потреблением*. Процесс обмена отождествился с любым возможным потреблением и низвел его до зависимости от себя. Меновая стоимость – это наемница потребительной стоимости, кончающая тем, что развязывает войну ради собственного интереса.

47.

Константа капиталистической экономики, заключающаяся в *тенденции к снижению потребительной стоимости*, развивает новую форму нехватки внутри прибавочной стоимости выживания, которая, к тому же, не свободна от стародавней нищеты, потому что требует соучастия огромного большинства людей как наемных работников в бесконечном поддержании ее напряжения, и потому что каждый знает, что ему нужно либо подчиниться, либо умереть. Именно реалии этого шантажа, заключающиеся в том, что потребление в своей наиболее бедной форме (питаться, иметь жилье) существует теперь лишь как заключенное внутри иллюзорного богатства возросшей стоимости выживания, является действительным основанием для принятия иллюзии вообще в современное товарное потребление. Реальный потребитель становится потребителем иллюзий. Товар есть эта иллюзия, по сути дела реальная, а спектакль – ее всеобщее проявление.

48.

Потребительная стоимость, которая была включена в меновую стоимость имплицитно, теперь, в обращенной действительности спектакля, должна провозглашаться эксплицитно, как раз потому, что ее подлинная действительность подтачивается сверхразвитой рыночной экономикой, и потому что для фальшивой жизни становится необходимым некое псевдо-подтверждение.

49.

Спектакль есть другая сторона денег – всеобщего абстрактного эквивалента всех товаров. Но если деньги подчинили себе общество как репрезентация главной эквивалентности, то есть обмениваемости многообразных благ, чье потребление оставалось несравнимым, спектакль представляет собой их развившееся современное дополнение, где вся полнота товарного мира появляется оптом, как некая всеобщая эквивалентность того, чем совокупность общества может быть и что делать. Спектакль есть деньги, на которые мы *только смотрим*, ибо в нем тотальность потребления уже заместилась тотальностью абстрактного представления. Спектакль не просто слуга *псевдо-потребления*, он уже сам по себе есть псевдо-потребление жизни.

50.

Сосредоточенный результат общественного труда в момент *экономического* изобилия становится видимым и подчиняет всякую действительность видимости, которая теперь становится его продуктом. Капитал больше не невидимый центр, управляющий способом производства, ибо его накопление распространяется вплоть до самой периферии в форме ощущаемых объектов. Все протяжение общества – это его портрет.

51.

Победа самостоятельной экономики должна в то же время стать ее гибелью. Высвобожденные ею силы подавляют *экономическую необходимость*, которая была незыблемой основой прежних обществ. Когда она заменяет ее необходимостью бесконечного экономического развития, она может замещать удовлетворение первичных признаваемых в общем человеческих потребностей лишь непрерывной фабрикацией псевдо-потребностей, которые сводятся к единственной псевдо-потребности – поддерживать ее господство. Но самостоятельная экономика навсегда отделяется от этой глубинной потребности по мере того, как она выходит из *общественного бессознательного*, которое от нее зависело, о том не ведая. “Все сознательное потребляется. Бессознательное – остается неизменным. Но, стоит ему высвободиться, не превратится ли оно, в свою очередь, в руины?” (Фрейд).

52.

В момент, когда общество открывает, что оно зависит от экономики, на самом деле уже экономика зависит от него. Та подспудная мощь, которая возросла настолько, что смогла проявиться в качестве верховной, таким образом утратила свое могущество. Там, где было экономическое Оно, должно стать Я. Субъект может возникнуть лишь из общества, то есть из существующей в нем борьбе. Его возможное существование полностью зависит от результатов классовой борьбы, которая проявляет себя и как продукт, и как производитель экономического основания истории.

53.

Сознание желания и желание сознания тождественны этому проекту, в своей негативной форме стремящемуся к уничтожению классов, то есть, к прямому овладению трудящимися всеми сферами собственной деятельности. Его *противоположностью* является общество спектакля, где товар сам созерцает себя в созданном им самим мире.

Глава 3. Единство и разделение в видимости.

“По всей стране на философском фронте разворачивается новая оживленная полемика по поводу понятий “одного, разделяющегося на два”, и “двух, сливающихся в одно”. Этот спор есть борьба между теми, кто за, и теми, кто против материалистической диалектики, борьба между двумя концепциями мира: пролетарской и буржуазной. Утверждающие, что “одно, разделяющееся на два” есть фундаментальный закон вещей, придерживаются материалистической диалектики, утверждающие, что основной закон вещей в том, что “два сливаются в одно” – против материалистической диалектики. Две стороны прочертили между собой четкую демаркационную линию, и их аргументы диаметрально противоположны. Эта полемика отражает в зеркале идеологии острую и сложную классовую борьбу, которая разворачивается в Китае и во всем мире.”

“Красное знамя”. Пекин. 21 сентября 1964.

54.

Подобно всему современному обществу, спектакль одновременно является и единым и разделенным. Как и общество, спектакль надстраивает свое единство

над разрывом. Но когда в спектакле возникает противоречие, оно, в свою очередь, опровергается оборачиванием его смысла – и оказывается, что демонстрируемое в спектакле разделение едино, тогда как продемонстрированное единство раздельно.

55.

Дело в том, что борьба за разные виды власти, установившиеся ради управления одной социально-экономической системой, проявляется как официально признанное противоречие, на самом деле принадлежащее к действительному единству – и единство это существует, как в мировом масштабе, так и внутри каждой страны.

56.

Фальшивые театрализованные конфликты соперничающих форм разделенной власти в то же время являются реальными в том, что выражают несбалансированное и конфликтное развитие системы, относительно противоречивые интересы классов, или классовых подразделений, которые признают систему, и определяют собственное соучастие во власти. Так же, как и развитие самой передовой экономики есть столкновение одних определенных приоритетов с другими, тоталитарное управление экономикой со стороны государственной бюрократии, как и состояние стран, оказавшихся в колониальной и полуколониальной сфере, определяются значительными особенностями в способах производства и методах властвования. В спектакле эти разнообразные оппозиции могут преподноситься в соответствии с совершенно разными критериями, как формы абсолютно различных обществ. Но согласно самой их наличной действительности как особых регионов, истина самой их особенности заключается во включении их в универсальную систему – в том едином движении, которое превратило планету в собственное поле, в капитализме.

57.

Общество-носитель спектакля господствует над слабо развитыми регионами не только посредством экономической гегемонии. Оно господствует над ними и *в качестве общества спектакля*. Там, где для этого пока отсутствует материальное основание, современное общество зрительно уже заполонило социальную поверхность каждого континента. Оно определяет программу правящего класса и направляет его формирование. Подобно тому, как оно представляет псевдо-блага, которые следует возжелать, оно так же предлагает местным революционерам и фальшивые модели революции. Спектакль, присущий бюрократической власти, довлеющей над несколькими индустриальными странами, на деле, является частью тотального спектакля – и как его общее псевдо-отрицание, и как его опора. Если спектакль, рассматриваемый в своих различных локализациях, с очевидностью указывает на тоталитарные общественные специализации прессы и администрации общества, то последние на уровне глобального функционирования системы сливаются в некоем *мировом разделении зрелищных задач*.

58.

Это разделение зрелищных задач, сохраняющее общую структуру существующего порядка, принципиально сохраняет и доминирующий полюс его развития. Спектакль укоренен на территории экономики, ставшей изобильной, и именно из нее вызревают те плоды, что, в конце концов, стремятся полностью господствовать на рынке зрелищ, невзирая на протекционистские идеологические и полицейские барьеры любого локального спектакля, претендующего на автаркию.

59.

Движение *банализации*, усреднения, которое под броскими отвлекающими маневрами спектакля господствует в современном обществе по всему миру, также доминирует и в каждой позиции, где развитое потребление товаров внешне приумножило выбор ролей и объектов. Пережитки религии и семьи – каковая остается главной формой наследования классово-власти, – а следовательно, и обеспечиваемого ими морального подавления могут, играя одну и ту же роль, сочетаться с избыточными утверждениями о наслаждении *этим* миром: ведь этот мир как раз и производится в качестве псевдо-наслаждения, сохраняющего в себе репрессию. Таким же образом, с блаженным принятием существующего может сливаться воедино чисто показной бунт, – и этим выражается ни что иное как то, что сама неудовлетворенность стала неким товаром, как только экономическое изобилие оказалось способным распространить производство на обработку такого первичного материала.

60.

Сосредоточивая в себе образ некоей возможной роли, звезда – эта зрелищная репрезентация живого человека – концентрирует, следовательно, эту усредненность в себе. Удел звезды – это специализация *мнимого проживания жизни*; она – это объект отождествления с мнимой поверхностной жизнью, которым должно компенсироваться дробление проживаемых в действительности производительных специализаций. Звезды существуют, чтобы олицетворять типы разнообразных жизненных стилей и стилей понимания общества, способных осуществляться *глобально*. Они воплощают недоступный результат общественного *труда*, имитируя побочные продукты этого труда, магическим образом оказывающиеся вознесенными над ним в качестве его цели: *власть* и *пора отпусков*, сфера принятия решений и потребление, которые находятся в начале и в конце одного никогда не обсуждаемого процесса. В одном месте правительственная власть персонифицируется в виде псевдо-звезды, в другом – сама звезда потребления через плебисцит наделяется псевдо-властью над переживанием. Но аналогично тому, как эти ролевые действия звезды не являются по-настоящему глобальными, им так же не свойственно и разнообразие.

61.

Действующее лицо спектакля, выставленное на сцену в качестве звезды – это противоположность индивида, враг индивида как в нем самом, так и в других. Перейдя в спектакль как модель идентификации, он отказывается от всякого автономного качества ради того, чтобы отождествить самого себя с общим законом подчинения ходу вещей. Звезда потребления, будучи совершенно внешней по отношению к репрезентации различных типов личности, показывает, что каждый из этих типов в равной степени обладает доступом к тотальности потребления и равным образом обретает в ней счастье. Звезде сферы принятия решений подобает обладать полным набором того, чем было принято восхищаться, как человеческими достоинствами. Вот так, официальные расхождения между ними устраняются официальным сходством – предпосылкой их превосходства во всем. Хрущев стал генералом, чтобы предрешить исход Курской битвы не на поле боя, а на ее двадцатую годовщину, став во главе государства. Кеннеди оставался оратором даже тогда, когда произносил панегирик над собственной могилой, ибо в тот момент Теодор Серенсен продолжал писать его преемнику речи в стиле, который столь много значил для признания персоны усопшего. Ведь те замечательные люди, в которых персонифицируется система, становятся известны лишь для того, чтобы не быть самими собой, ибо они стали великими, опустившись ниже действительности ничтожнейшей индивидуальной жизни, и каждый из них это знает.

62.

Фальшивый выбор в показном изобилии, выбор который кроется в противопоставлении конкурирующих спектаклей спектаклям солидарным, как и в противопоставлении ролей (принципиально означаемых и передаваемых объектами), каковые одновременно исключают и встраиваются друг в друга, развивается в борьбе воображаемых качеств, предназначенных для того, чтобы возбудить приверженность к количественной заурядности. Таким образом, возрождаются ложные архаические оппозиции – регионализмы или расизмы, призванные преобразить в фантастическое онтологическое превосходство ничтожность мест, занимаемых в иерархии потребления. Подобным же образом переустраивается нескончаемая серия смехотворных столкновений, мобилизующих некий полуигровой интерес, – от спортивных соревнований до выборов. Там, где установилось избыточное потребление, главная показная оппозиция между молодежью и взрослыми выводит на первый план эти фальшивые роли, ибо нигде не существует взрослого – хозяина собственной жизни, а молодость как изменяющее существующее – уж никак не свойство сегодняшней молодежи, но свойство экономической системы – динамики капитализма. Царствуют, наполняются молодостью, вытесняют и замещают друг друга именно *вещи*.

63.

Под оппозициями спектакля скрывается *единство нужды*. Если различные формы одного и того же отчуждения сталкиваются под масками тотального выбора, то это происходит потому, что все они надстраиваются над вытесненными реальными противоречиями. В соответствии с потребностями той особой стадии опровергаемой или отстаиваемой спектаклем нужды, он существует либо в сосредоточенной форме, либо в форме рассредоточенной. В обоих случаях – это лишь образ удачного соединения, окруженного скорбью и ужасом, в спокойном центре урагана.

64.

В сущности, сосредоточенная театрализация свойственна бюрократическому капитализму, хотя она может заимствоваться в качестве технологии государственной власти более отсталыми смешанными экономиками или же в определенные кризисные моменты развитого капитализма. Сама бюрократическая собственность на деле является сосредоточенной в том смысле, что отдельный бюрократ связан с властью над экономикой в целом лишь посредством бюрократического сообщества, и только как член этого сообщества. Кроме того, менее развитое производство товаров также представляется в сосредоточенной форме, ибо товар, которым владеет бюрократия – это совокупный общественный труд, а то, что она перепродает обществу, – это его выживание в целом. Диктатура бюрократической экономики не может оставить эксплуатируемым массам никакого значительного поля выбора, поскольку она должна все выбирать сама, и потому что любой иной внешний выбор, касается ли он питания или музыки, является, следовательно, выбором ее полного разрушения. Она должна сопровождаться перманентным насилием. Навязываемый в ее спектакле образ блага вбирает в себя всю полноту того, что существует в качестве официально признанного, и, как правило, концентрируется на одном человеке – гаранте ее тоталитарной сплоченности. С этой абсолютной звездой каждый должен либо магически отождествиться, либо исчезнуть. Ибо дело идет о господине собственного не-потребления и о героическом образе, в каком-то смысле приемлемом для абсолютной эксплуатации, на самом деле представляющей собой ускоренное террором первоначальное накопление. Если каждый китаец должен учиться у Мао и, таким образом, быть Мао, так это потому,

что ему не нужно иметь *ничего другого, чтобы быть*. Там, где господствует сосредоточенная театрализация, также господствует и полиция.

65.

Рассредоточенная театрализация сопровождается изобилием товаров, ничем не нарушаемое развитие современного капитализма. Здесь каждый отдельно взятый товар получает оправдание во имя величия производства всей совокупности предметов, чьим апологетическим перечнем и является спектакль. Непримириемые утверждения толкуются на сцене унифицированного зрелища избыточной экономики; подобно тому, как различные показательные товары-звезды одновременно отстаивают свои собственные противоречащие проекты общественного благоустройства, когда автомобильный спектакль требует для себя идеального дорожного движения, уничтожающего старые города, тогда как зрелище самого города нуждается в кварталах-музеях. Следовательно, само удовлетворение, уже проблематичное и по общему мнению принадлежащее *совокупному потреблению*, немедленно фальсифицируется в том, что реальный потребитель может прямо соприкоснуться лишь с последовательностью фрагментов этого товарного благоденствия, – фрагментов, в которых качество, приписываемое совокупности, каждый раз, конечно же, явно отсутствует.

66.

Каждый товар, обреченный на борьбу за самого себя, не может признать другие товары и претендует на то, чтобы навязывать себя повсюду, словно он – единственный. Тогда спектакль – это эпическое воспевание этого столкновения, и никакое падение Трои не сможет его завершить. Спектакль воспекает не мужей и их оружие, но лишь товары и их страсти. Именно в этой слепой борьбе каждый конкретный товар, следуя собственной страсти, на самом деле, бессознательно реализует нечто гораздо более возвышенное: товарное становление-миром, которое к тому же есть становление-товаром мира. Таким образом, *хитростью товарного разума*, частное товара приводится в столкновении, тогда как товарная форма движется к своей абсолютной реализации.

67.

Доходит до того, что удовлетворение, которого избыточный товар уже больше не может дать в потреблении, стремятся получить в признании его ценности как товара: такое *товарное* потребление удовлетворяет только самого себя, потребителю же здесь отводится лишь соучастие в религиозных излияниях по отношению к суверенной свободе товара. Волны же энтузиазма по поводу того или иного продукта, поддерживаемые и разносимые всеми средствами массовой информации, распространяются стремительными темпами. Стиль одежды возникает из фильма, журнал создает имя клубам и обществам, а те вводят в моду различные наборы товаров. Феномен *“гаджета”* – забавных безделушек – выражает то, что в момент, когда товарная масса стремится к отклонению от нормы, само отклонение становится особым товаром. Например, за рекламными брелоками, больше не покупаемыми, но презентуемыми по случаю, сопровождающими престижные покупки или становящимися предметом своего рода обмена, можно опознать проявление некоей мистической преданности трансцендентности товара. Тот, кто коллекционирует брелоки, которые и производятся лишь для того, чтобы пополнять коллекции, накапливает товарные *индульгенции* – славный знак его реального присутствия среди верных сторонников. Овеществленный человек выставляет напоказ доказательство интимной связи с товаром. Как в экстазах конвульсионеров или восторгах чудесно исцеленных религиозного фетишизма былых времен, фетишизм товарный доходит до состояний лихорадки. Единственное потребление, что еще выражается здесь, есть фундаментальное потребление подчинения.

68.

Несомненно, навязываемая в современном потреблении псевдо-потребность, не может быть противопоставлено никакой подлинной потребности или желанию, которые сами не были бы сфабрикованы обществом и его историей. Но избыточность товара выступает здесь как абсолютный разрыв в органическом развитии общественных потребностей. Его механическое накопление высвобождает нечто *безгранично искусственное*, а перед последним всякое живое желание остается обезоруженным. Совокупная мощь независимых артефактов повсеместно влечет за собой *фальсификацию общественной жизни*.

69.

В образе счастливой унификации общества посредством потребления реальное разделение только *приостанавливается* до ближайшей незавершенности в потребляемом. Каждый отдельный продукт, который должен олицетворять надежду на молниеносное сокращение пути к окончательному достижению обетованной земли полного потребления, в свою очередь, церемонно представляется как решающий в своей сингулярности. Но, как и в случае мгновенного распространения моды на разные мнимо аристократические имена, которыми тут же оказываются названными почти все индивиды одного возраста, предмет, от которого ждут некоей уникальной способности, смог предстать как объект массового обожания лишь потому, что он выпускается в достаточно большом количестве, чтобы быть массово потребленным. Престижным характером этот посредственный продукт наделяется лишь потому, что на мгновение он оказывается помещен в центр общественной жизни как явленная в откровении тайна конечной цели производства. Предмет, который был столь престижным в спектакле, становится пошлым в тот момент, когда он приходит к одному потребителю в то же время, что и к другим. Он слишком поздно открывает свое сущностное убожество, естественно наследуемое от ничтожности своего производства. Но в этот момент уже другой предмет несет на себе оправдание системы и ее требование быть признанным.

70.

Обман удовлетворения должен разоблачать себя сам, замещаясь другим обманом, следуя смене продуктов и изменению общих условий производства. То, что с абсолютным бесстыдством утверждало собственное окончательное превосходство, как в спектакле рассредоточенном, так и в спектакле сосредоточенном тем не менее быстро сменяется, и только сама система должна сохраняться: так Сталин, подобно вышедшему из моды товару, обличается теми, кто прежде перед ним благоговел. Каждая *новая ложь* рекламы – это также *признание* ее предыдущей лжи. Каждое крушение лидера тоталитарной власти выявляет *иллюзорную сообщество*, которое его единодушно одобряла и бывшее всего лишь скоплением не питающих иллюзий одиночеств.

71.

Представляемое спектаклем как вечное, основывается на изменении и должно изменяться вместе с его основанием. Спектакль абсолютно догматичен, но в то же время на деле не может установить никакой жесткой догмы. Для него ни в чем нет остановки: состояние для него естественное, но тем не менее и наиболее противоположное его устремлениям.

72.

Провозглашаемое спектаклем нереальное единство есть маска классового разделения, на котором зиждется действительное единство капиталистического способа производства. То, что обязывает производителей участвовать в построении мира, есть также то, что их от него отстраняет. То, что устанавливает связи между людьми, избавленными от локальных и национальных ограничений,

есть также то, что их отдаляет друг от друга. То, что принуждает к углублению рационального, есть также то, что питает иррациональное иерархической эксплуатации и подавления. То, что создает власть, абстрагированную от общества, творит и его конкретную *несвободу*.

Глава 4. Пролетариат как субъект и представление.

“Равное для всех право на пользование благами и удовольствиями этого мира, разрушение всех авторитетов, отрицание любых моральных ограничений – вот, если всмотреться в суть вещей, основная причина возникновения восстания 18 марта и хартия опасного сговора, обеспечившая его армией сторонников”.

Парламентское расследование о восстании 18 марта

73.

Реальное движение, которое упраздняет существующие условия, правит обществом начиная с момента, когда в экономике побеждает буржуазия, а начиная с политического воплощения этой победы, это управление становится видимым. Развитие производительных сил разрушает старые производственные отношения, и весь статический порядок рассыпается в прах. Все, что было абсолютным, становится историческим.

74.

Ведь только будучи брошенными в историю, вынужденными участвовать в утверждающих ее труде и борьбе, люди обнаруживают, что должны трезво представлять собственные отношения. Эта история не имеет объекта, отличного от того, что она осуществляет в себе самой, хотя прошлое бессознательное метафизическое видение исторической эпохи могло рассматривать возрастание производительности, в котором проявлялась история, в качестве самого объекта истории. *Субъектом* же истории может быть лишь живущий, производящий самого себя, становящийся господином и обладателем собственного мира, который и есть история, и существующий как *сознание своей игры*.

75.

Как одно и то же течение развивались классовые конфликты длительной *революционной эпохи*, начавшейся вместе с подъемом буржуазии и *историческим мышлением*, диалектикой, мышлением, которое больше не останавливается на поиске смысла сущего, но восходит до осознания разложения всего существующего, которое разрешает в движении любые разделения.

76.

Гегель *интерпретировал* уже не мир, но *преобразование* мира. Но, так как он *истолковывал* только преобразование, Гегель был лишь философским завершением философии. Он хочет понять *творящий сам себя* мир. К тому же, это историческое мышление не больше, чем сознанием, приходящим всегда слишком поздно и высказывающим подтверждение лишь *post festum*. Таким образом, оно преодолевает разделение лишь в мышлении. Парадокс, состоящий

в том, что необходимо откладывать суждение о смысле всякой действительности до ее исторического воплощения, и в то же время раскрывать этот смысл как самоконституирующийся в историческом воплощении, вытекает просто из того обстоятельства, что мыслитель буржуазных революций XVII и XVIII веков искал в своей философии лишь *примирения* с их результатом. “Подобно философии буржуазной революции, она является отражением не всего процесса этой революции, но только ее итогового заключения. И в этом смысле она является не философией революции, но философией реставрации “(Карл Корш, *Тезисы о Гегеле и революции*). Гегель в последний раз проделал работу философа – “превознесение существующего”, но и существующее для него не могло быть ни чем иным, как тотальностью исторического движения. Фактически утверждавшаяся *внешняя* позиция мышления могла быть замаскирована только через ее отождествление с предварительным проектом Духа – абсолютного героя, который творит то, что хочет, а хочет того, что творит, и чье воплощение всегда совпадает с настоящим. Таким образом, философия, умирающая в исторической мысли, может теперь превозносить свой мир, лишь отрицая его, ибо, чтобы взять слово, ей необходимо представлять как уже закончившуюся ту тотальную историю, в которой она все заключает, и закрыть заседание того единственного трибунала, где может быть вынесен приговор истине.

77.

Когда действия и само существование пролетариата выявляет то, что эта историческая мысль не была забыта, изобличение неправильности *вывода* одновременно служит подтверждению неправильности метода.

78.

Мышление истории может быть спасено, лишь становлением мышлением практическим, а практика пролетариата как революционного класса, по меньшей мере, должно быть историческим сознанием, считающимся со всей полнотой его мира. Все теоретические течения *революционного* рабочего движения вышли из критического столкновения с гегелевской мыслью: и это не только Маркс, но также и Бакунин, и Штирнер.

79.

Неразрывный характер теории Маркса и гегелевского метода, в свою очередь, не может быть отделен от революционного характера этой теории, то есть от ее истины. Именно в этом пункте их первичная связанность была повсеместно проигнорирована или понята ошибочно, или же, ко всему прочему, обличалась как слабость того, что лживо выдавалось за некую марксистскую *доктрину*. Бернштейн в *Теоретическом социализме и практической социал-демократии* замечательно вскрыл эту связь диалектического метода и исторической *предвзятости*, сокрушаясь о мало научных предвидениях Манифеста 1847 года о неизбежности пролетарской революции в Германии: “Это историческое самовнушение, настолько ошибочное, что записные политические мечтатели вряд ли смогли бы его превзойти, было бы непонятно у Маркса, в то время уже основательно знавшего экономику, если в нем не усматривать остаточный продукт гегелевской диалектики противоречия, от которой Маркс, равно как и Энгельс, никогда не смог освободиться полностью. Тем более роковым она была для него в те времена всеобщего смятения”.

80.

Обращение, осуществляемое Марксом ради “сохранения посредством переноса” мышления буржуазных революций, состоит не в том, чтобы банально заменить материалистическим развитием производительных сил движение гегелевского Разума, стремящегося к воссоединению с самим собой во времени, ибо его объективация, тождественна его отчуждению, а его исторические

повреждения не оставляют шрамов. Истории, ставшей действительной, больше нет *конца*. Маркс упразднил и *обособленную* по отношению к происходящему позицию Гегеля и *созерцание* какого бы то ни было внешнего верховного деятеля. Теперь теория должна познавать лишь то, что ею производится. И напротив, в господствующем мышлении современного общества именно созерцание экономического движения является *не обращенным* наследием *недиалектической* части гегелевской попытки построения замкнутой на себе системы: это соглашательство утратило понятийное измерение и для собственного оправдания больше не имеет нужды в каком-либо гегельянстве, ибо движение, которое теперь необходимо превозносить, представляет собой безмысленный сектор мира, чье механическое развитие реально господствует над целым. Проект Маркса – это проект истории осознаной. Количественное, возникающее в слепом чисто экономическом развитии производительных сил, должно превратиться в качественное историческое присвоение. И *Критика политической экономии* – первый акт финала этой *доистории*: “Из всех орудий производства самая значительная производительная сила – это сам революционный класс”.

81.

Рациональное понимание реально действующих в обществе сил тесно связывает теорию Маркса с научной мыслью. Но в своей основе оно находится *по ту сторону* научной мысли, и последняя сохраняется в ней, только будучи преодоленной, ибо дело идет о понимании *борьбы*, а ни в коем случае не *закона*. “Мы знаем только одну науку – науку истории” – говорит *Немецкая идеология*.

82.

Буржуазная эпоха, стремящаяся обосновать историю научно, пренебрегает тем обстоятельством, что эта находящаяся в ее распоряжении наука должна, прежде всего, сама исторически основываться на экономике. И наоборот, история радикально зависит от научного познания, лишь постольку, поскольку эта история остается *историей экономической*. То, в какой мере историческая часть в самой экономике (глобального процесса, который видоизменяет собственную базу научных данных) могла, помимо прочего, не замечаться с точки зрения научного наблюдателя, – показывает тщетность исчислений тех социалистов, которые полагали, будто они установили точную периодичность кризисов; а с тех пор, как в него постоянно начало вмешиваться государство, чтобы компенсировать последствия кризисных тенденций, рассуждения подобного рода узревают в этом шатком равновесии окончательную экономическую гармонию. Если проект преодоления экономики, проект овладения историей, должен познать (и свести к себе) науку об обществе, он сам не может оставаться *научным*. В этом последнем движении, полагающем, будто оно овладевает настоящей историей через научное познание, революционная точка зрения продолжает оставаться *буржуазной*.

83

Утопические течения социализма, хотя исторически сами и основанные на критике существующей социальной организации, могут быть квалифицированы как утопические как раз в той мере, в какой они отвергают историю (то есть, реально идущую борьбу, так же как и движение времени над неизменным совершенством их образа счастливого общества), а не потому, что они якобы отрицают науку. Наоборот, мыслители-утописты целиком находятся под властью научного мышления в том виде, каким оно было навязано в предыдущие столетия. И они стремятся лишь к завершению этой общей рациональной системы; они никоим образом не рассматривают себя как безоружных пророков, ибо верят в общественное могущество научного доказательства и даже, в случае сен-симонизма, в захват власти наукой. Как, – вопрошает Зомбарт – “хотят они

добиться посредством борьбы того, что должно быть *доказано*?”. Между тем, научная концепция утопистов не распространялась на познание того, какие интересы имеют социальные группы в существующей ситуации, какие силы выступают в ее поддержку, а также каковы формы ложного сознания, соответствующие таким позициям. Следовательно, она остается гораздо ниже реальности исторического развития самой науки, которая оказалась по большей части ориентированной вытекающим из таких факторов *социальным запросом*, определяющим не только то, что может быть принято, но также и то, что должно быть исследовано. Социалисты-утописты, остававшиеся пленниками *научного способа изложения истины*, понимают эту истину по ее чистому абстрактному образу, в каком она представляла на давно прошедших стадиях развития общества. Как отмечал Сорель, утописты думали открыть и наглядно объяснить законы общества по образцу *астрономии*. Гармония, намеченная ими как цель, враждебна истории, и имеет своим источником попытку приложения к обществу науки, наименее зависящей от истории. Она стремится к признанию с той же экспериментальной невинностью, что и физика Ньютона, и постоянно постулируемый счастливый итог “играет в их общественной науке роль, аналогичную той, что приписывают силе инерции в рациональной механике.” (*Материалы для теории пролетариата*).

84.

Детерминистски-научная сторона мысли Маркса как раз и оказалась той брешью, через которую в нее проникает процесс “идеологизации” – при жизни и тем более в теоретическом наследии, завещанном рабочему движению. Приход субъекта истории до поры откладывается на более поздний срок, и именно историческая наука *par excellence*, экономика, все шире стремится обеспечить необходимость своего собственного будущего отрицания. Но этим вне поля теоретического видения выталкивается революционная практика – единственная истина этого отрицания. Таким образом, оказывается важным и терпеливое изучение экономического развития, помимо прочего же, становится просто неизбежным принимать с гегельянским спокойствием горечь от того, что его результатом оказывается “кладбище благих намерений”. Вдруг открывают, что сегодня, согласно науке о революциях, *сознание приходит всегда слишком рано* и должно быть преподано. “История показала, что и мы и все, мыслившие подобно нам, были неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым ...” – скажет Энгельс в 1895 году. Всю свою жизнь Маркс придерживался в своей теории единой точки зрения, но *изложение* его теории переносилось на территорию господствующей мысли, конкретизируясь в форме критики частных дисциплин и, главным образом, критики основополагающей науки буржуазного общества – политической экономии. Именно это искажение, впоследствии принятое как окончательное, конституировало “марксизм”.

85.

Недостаток в теории Маркса естественно стал и недостатком революционной борьбы пролетариата его эпохи. В Германии 1848 года рабочий класс не объявил о перманентной революции, в изоляции была разгромлена Коммуна. Следовательно, революционная теория еще не смогла достичь полноты своего существования. И то, что Маркс был вынужден уточнять и защищать ее в уединении научной работы в *British Museum*, подразумевало некий изъян в самой теории. Как раз научные оправдания, навязанные будущему развитию рабочего класса, и сочетающаяся с этими оправданиями организационная практика на более продвинутой стадии станут препятствиями для пролетарского сознания.

86.

Вся теоретическая недостаточность *научной* защиты пролетарской революции может быть сведена как по содержанию, так и по форме изложения, к отождествлению пролетариата с буржуазией с *точки зрения революционного захвата власти*.

87.

Тенденция обосновывать доказательства научной закономерности власти пролетариата, превращающая ее в сводку повторяющихся экспериментов прошлого, затемняет, начиная с самого “Манифеста”, историческую мысль Маркса, заставляя его придерживаться *линейной* схемы развития способов производства, ставшего следствием классовой борьбы, каждый раз, якобы, заканчивающейся “революционным преобразованием всего общества целиком, или общим уничтожением борющихся классов”. Но в наблюдаемой исторической действительности, подобно тому, как “азиатский способ производства”, что подчеркивает Маркс по другому поводу, сохранял свою неподвижность, несмотря на все классовые столкновения, так и жакерии крепостных никогда не побеждали баронов, а восстания античных рабов – свободных людей. Линейная схема упускает из виду, прежде всего, то, что *буржуазия является единственным революционным классом, оставшимся непобежденным*, и в то же время она – единственный класс, для которого развитие экономики стало причиной и следствием ее господства над обществом. То же упрощенчество привело Маркса и к отрицанию экономической роли государства в управлении классовым обществом. Если восходящая буржуазия, казалось, освободила экономику от государства, то происходило это в той мере, в какой прежнее государство совпадало с орудием классового подавления в *статической экономике*. Буржуазия развила свое самостоятельное экономическое могущество в средневековый период ослабления государства, в пору феодальной раздробленности взаимно сбалансированных видов власти. Но современное государство, начавшее поддерживать развитие буржуазии через меркантилизм, и, в конце концов, в период “laisser faire, laisser passer” ставшее ее *государством*, затем открывает себя как наделенное основной властью в рассчитываемом управлении *экономическим процессом*. Маркс, однако, под именем *бонапартизма* сумел описать этот прототип современной государственной бюрократии как слияние капитала и государства, установление “национальной власти капитала над трудом, общественной силы социального подчинения”, когда буржуазия отказывается от всякой исторической жизни, не сводимой к экономической истории вещей, избирая “обреченность на то же политическое небытие, что и другие классы”. Уже здесь закладываются социально-политические основы современного спектакля, негативно определяющего пролетариат как *единственного претендента на историческую жизнь*.

88.

Только два класса, действительно соответствующие теории Маркса, два беспримесных класса, к которым приводит весь анализ *Капитала* – буржуазия и пролетариат, равным образом являются двумя единственными революционными классами истории, хотя и в различных условиях, ибо буржуазная революция произошла, а революция пролетарская – еще только проект, возникший на основе предыдущей революции, но отличающийся от нее качественно. Те, кто пренебрегает *своеобразием* исторической роли буржуазии, заслоняет конкретное своеобразие и этого пролетарского проекта, который не мог бы ничего достичь, если бы не выступал под собственным знаменем и не осознавал “громкость своих задач”. Буржуазия пришла к власти потому, что была классом развивающейся экономики. Пролетариат сам может стать властью, только становясь *классом сознания*. Созревание производительных сил не может

гарантировать такой власти даже посредством всевозрастающей экспроприации, которую оно влечет за собой. Якобинский захват государственной власти не может быть орудием пролетариата. Никакая *идеология* не может ему послужить в том, чтобы скрыть частные цели за общими, ибо он не может сохранять никакую частную действительность, которая бы фактически была его собственной.

89.

Если Маркс, в определенный период своего участия в борьбе пролетариата, слишком уж рассчитывал на научное предвидение, и даже создал интеллектуальную основу для иллюзий экономизма, мы-то уж знаем, что он им не поддавался лично. В хорошо известном письме от 7 декабря 1867 года, сопровождающем статью, где он сам критикует *Капитал*, статью, которую Энгельс должен был передать в газеты, как если бы она исходила от оппонента, Маркс ясно обозначил пределы своей науки: "...Субъективная тенденция автора, возможно, продиктованная ему положением члена партии и личным прошлым, – то есть то, каким образом он представляет себе, или изображает другим конечный результат современного движения, современного общественного процесса, не имеет ничего общего с его реальным анализом." Итак, Маркс, обличая самого себя в "тенденциозных выводах" своего объективного анализа и по иронии этого "возможно", относящегося к влияющим на выбор вненаучным обстоятельствам, которыми он был связан, в то же время демонстрирует методологический ключ слияния этих двух аспектов.

90.

Именно в самой исторической борьбе необходимо осуществлять слияние познания и действия, так, чтобы каждая из сторон находила в другой обеспечение своей истинности. Складывание пролетарского класса как субъекта – это и организация революционной борьбы и организация общества в *революционный момент*; ибо именно в этом и должны осуществляться *практические условия сознания*, в которых теория практической деятельности подтверждает себя, превращаясь в практическую теорию. Однако как раз этот центральный вопрос об организации менее всего был осознан революционной теорией в эпоху зарождения рабочего движения, то есть, когда эта теория еще обладала *единым* характером, проистекавшим из исторической мысли (и когда она как раз и ставила себе задачу развиться до единой исторической *практики*). И напротив, здесь самое *непродуманное* место этой теории, допускающей воспроизведение государственных и иерархических прикладных методов, заимствованных у буржуазной революции. Формы организации рабочего движения, развившиеся из этого отказа от теоретики, наоборот, имели склонность препятствовать сохранению единой теории, распыляя ее на различные специализированные и частные формы познания. Теперь идеологическое отчуждение теории более не может признавать результаты практического подтверждения единого исторического мышления, им преданного, когда такое подтверждение теории возникает из спонтанной борьбы рабочих; это идеологическое отчуждение может лишь потворствовать подавлению подобных проявлений и памяти о них. Однако эти возникшие в борьбе исторические формы как раз и являются практической средой, которой недостает теории, чтобы быть истинной. Они сами – насущная потребность теории, но потребность, не сформулированная теоретически. *Совет* не был открытием теории. Но тем не менее уже в его практическом существовании заключалась наивысшая теоретическая истина Международного Товарищества Рабочих.

91.

Первые успехи в борьбе вели Интернационал к избавлению от запутывающих влияний господствующей идеологии, что в нем еще сохранялись. Однако

поражения и репрессии, с которыми он вскоре столкнулся, выдвинули на первый план конфликт между двумя концепциями пролетарской революции, при том, что обе концепции содержали некое *авторитарное* измерение, из-за которого идея сознательного самоосвобождения класса оказывалась заброшенной. На самом деле, ставшая непримиримой ссора между марксистами и бакунистами затрагивала сразу два аспекта: власть в революционном обществе и непосредственную организацию движения, причем при переходе от одного вопроса к другому позиции противников взаимооборачивались. Бакунин боролся с иллюзией отмены классов посредством авторитарного использования государственной власти, предвидя восстановление господствующего бюрократического класса и диктатуру наиболее знающих или тех, кого будут считать таковыми. Маркс же, считавший, что параллельное вызревание экономических противоречий и демократического образования рабочих должно ограничить роль пролетарского государства лишь этапом легализации новых объективно устанавливающихся общественных отношений, обличал у Бакунина и его сторонников авторитаризм подпольной элиты, которая сознательно ставила себя над Интернационалом и оформила сумасбродный план навязывания обществу безответственной диктатуры “революционеров по преимуществу”, или называющих себя таковыми. И действительно, Бакунин вербовал своих сторонников именно для такой перспективы: “Невидимые штурманы посреди народной бури, мы должны руководить ею, но не конкретной видимой властью, а через коллективную диктатуру всех ее *союзников*. Диктатуру без титулов и знаков отличий, без официальных прав, диктатуру тем более мощную, что она лишена будет внешней видимости власти”. Так противопоставляли себя друг другу две *идеологии* рабочей революции, каждая из которых частично содержала справедливую критику, но, утрачивая единство исторического мышления, возводила себя на пьедестал идеологического *авторитета*. Мощные организации, такие как немецкая социал-демократия и Иберийская федерация анархистов, верно служили той или иной из этих идеологий, но повсюду результат был весьма отличен от ожидаемого.

92.

То обстоятельство, что анархисты рассматривают цель пролетарской революции как *непосредственно наличную*, составляет сразу и величие, и слабость их реальной борьбы (ибо в индивидуалистических вариантах претензии анархистов остаются смехотворными). От исторического мышления современной классовой борьбы коллективистский анархизм сохраняет только выводы, а его абсолютная потребность в них именно и проявляется в намеренном пренебрежении методом. Так что его критика *политической борьбы* остается абстрактной, тогда как его выбор в экономической борьбе сам по себе подтверждается только в иллюзорной перспективе некоего окончательного решения, разом материализующегося в день всеобщей забастовки или восстания. Анархисты *должны осуществлять некий идеал*. Анархизм – это *все еще идеологическое* отрицание государства и классов, то есть самих общественных условий идеологии, основанной на разделении. Именно *идеология чистой свободы* уравнивает всех и устраняет всякую идею исторического зла. Эта точка зрения, соединяющая все частные потребности, приписала анархизму заслугу представлять отказ от существующих условий ради всей жизни в целом, а не только от имени некой привилегированной критической специализации. Но это слияние, если по индивидуальной прихоти рассматривать его как абсолют, до его действительного осуществления, также обрекало анархизм на слишком уж легко устанавливаемую непоследовательность. В каждом конкретном эпизоде борьбы анархизму приходится только твердить и использовать вновь и вновь одно и то же

простое всеобщее заключение, ибо это первое заключение с самого начала было отождествлено с полным завершением движения. И потому, в 1873 году покидая Юрскую Федерацию, Бакунин мог написать: “За девять последних лет в недрах Интернационала расплодилось больше идей по спасению мира – как если бы идеи сами по себе могли его спасти, – чем нужно, и теперь я брошу вызов любому, кто бы он ни был, кто изобретет еще одну новую. Время идей прошло, наступило время фактов и поступков.” Несомненно, эта концепция сохраняет в историческом мышлении пролетариата ту уверенность, что идеи должны становиться практическими, но она покидает историческую почву, полагая, будто адекватные формы этого перехода к практике уже найдены и больше никогда не изменятся.

93.

Анархисты, которые явно отличаются от рабочего движения в целом своей идеологической убежденностью, в дальнейшем воспроизведут внутри себя это разделение ролей, создав в своей среде благоприятные условия для неформального господства над всей анархистской организацией пропагандистов и защитников их собственной идеологии – специалистов более чем посредственных, ибо вся их интеллектуальная активность в принципе сводилась к повторению нескольких окончательных истин. Идеологическое почтение к единодушию в принятии решений в самой организации благоприятствовало, прежде всего, неконтролируемой власти *профессионалов свободы*, так что революционный анархизм ожидал от освобожденного народа такого же рода единодушия, обретаемого теми же средствами. В остальном, отказ рассматривать противоположность ситуаций некоего меньшинства, сгруппировавшегося ради текущей борьбы, и общества свободных индивидов, лишь усиливал постоянную оторванность анархистов от масс в момент принятия общего решения, как то показывают примеры бесчисленных анархистских восстаний в Испании, слишком ограниченных и подавленных на местном уровне.

94.

Иллюзия, более или менее явно поддерживаемая в подлинном анархизме, – это иллюзия постоянной необратимой близости революции, которая, осуществившись в одно мгновение, должна придать основание и идеологии, и производному от идеологии способу практической организации. В 1936 году анархизм действительно привел к социальной революции и к самой что ни на есть радикальной попытке установления пролетарской власти. Но нужно отметить, что в этих обстоятельствах, с одной стороны, общее восстание было навязано военным переворотом, с другой же, в той мере, в какой эта революция не была завершена в первые дни, и оттого, что на половине территории страны существовала власть франкистов, опиравшихся на мощную поддержку из заграницы, а остатки интернационального пролетарского движения были уже разгромлены, а также из-за сохранения сил буржуазии и других прогосударственных рабочих партий в республиканском лагере, организованное анархистское движение показало себя не способным не только расширить половинчатые победы революции, но даже просто их защитить. Его признанные вожди стали министрами и заложниками буржуазного государства, которое уничтожило революцию, ради того чтобы проиграть гражданскую войну.

95.

“Ортодоксальный марксизм” Второго Интернационала – это научная идеология социалистической революции, которая отождествляет всю свою истинность с объективным процессом в экономике и с прогрессом признания этой необходимости рабочим классом, обученным посредством организации. Эта идеология начинает питать характерное для утопического социализма доверие к

педагогическому доказательству, но теперь оно приправлено *созерцательной* установкой по отношению к ходу истории. Впрочем, эта установка теперь утрачивает гегельянское измерение всеобщей истории, как и неподвижный образ всеобщности, имевший место в утопической критике (в наиболее высокой степени у Фурье). Из такой научной установки, которая не могла сделать меньшего, как реанимировать симметрию этических решений, из которых и ведут начало нелепые рассуждения Гильфердинга, когда тот уточняет, что признание необходимости социализма не дает никакого “указания на практическую установку, которую нужно принять. Ибо одно дело – признавать необходимость, и совсем другое – поставить себя на службу этой необходимости” (*Финансовый капитал*). Не признававшие, что единое историческое мышление для Маркса и для революционного пролетариата *нисколько не отличалось от практической установки, которую нужно принять*, как правило, становились естественными жертвами практики, которую они одновременно принимали.

96.

Идеология социал-демократической организации отдала ее во власть воспитывавших рабочий класс *профессоров*, а принятая форма организации вполне соответствовала этому пассивному ученичеству. Участие социалистов II Интернационала в политической и экономической борьбе было, конечно же, конкретным, но глубоко *некритическим*. Эта борьба велась во имя *революционной иллюзии*, но в соответствии с откровенно *реформистской* практикой. Таким образом, революционной идеологии суждено было быть разрушенной самими успехами ее носителей. Выделение из движения депутатов и журналистов толкало к буржуазному образу жизни тех, кто и так уже был рекрутирован из среды буржуазных интеллектуалов. Те же, кто был рекрутирован из среды промышленных рабочих и извлечен из нее, профсоюзная бюрократия превращала в маклеров, представляющих на продажу по надлежащей цене рабочую силу в качестве товара. Для того, чтобы их деятельность в глазах остальных сохраняла хоть что-то революционное, нужно было, чтобы капитализм на тот момент был не способен *воспринять* экономически тот реформизм, который он в их законопослушной агитации терпел политически. Именно такая несовместимость обеспечивалась их наукой, но всякий раз развенчивалась историей.

97.

Этому противоречию, действительность которого честно желал продемонстрировать Бернштейн, – потому что он был социал-демократом, наиболее далеким от политической идеологии и наиболее откровенно примыкавшим к методологии буржуазной науки, – (чью действительность засвидетельствовало и реформистское движение английских рабочих, обходившееся без революционной идеологии), предстояло, однако, обрести безусловное доказательство лишь в самом историческом развитии. Хотя Бернштейн и был полон разнообразных иллюзий, он оспаривал то, что кризис капиталистического производства каким-то чудесным образом сам принудит к действию социалистов, желающих унаследовать революцию не иначе, как сакрально-легитимным образом. Несмотря на то, что эпоха глубоких общественных потрясений, наступившая вместе с началом Первой Мировой войны, и была плодотворна для формирования сознания, она дважды продемонстрировала, что социал-демократическая иерархия революционно не воспитала и никоим образом не *сделала теоретиками* немецких рабочих: в первый раз, когда подавляющее большинство членов партии открыто поддержало империалистическую войну, и затем, когда уже после поражения оно подавило революционных спартаковцев. Экс-рабочий Эберт к тому же верил в греховность,

признаваясь, что ненавидит революцию “как грех”. И тот же самый вождь проявил себя истинным предтечей *социалистического представительства*, что немного позже противопоставило себя как абсолютного врага пролетариату России и других стран, точно сформулировав программу этого нового отчуждения: “Социализм – это значит много работать”.

98.

Ленин как марксистский мыслитель был всего-навсего последовательным и *верным каутскианцем*, применившим *революционную идеологию* этого “ортодоксального марксизма” в русских условиях, которые не допускали никакой реформистской практики, в отличие от осуществлявшейся II Интернационалом. *Внешнее* руководство пролетариатом, проводившееся средствами дисциплинированной подпольной партии, подчиненной интеллектуалам, ставшим “профессиональными революционерами”, сделало из нее профессиональную группу, не пожелавшую заключить союз ни с одной из правящих профессиональных групп капиталистического общества (впрочем, царский политический режим и не был способен предложить такой выход, ибо социальная база такового, предполагает более развитую стадию буржуазной власти). И потому она становится *группой профессионалов по абсолютному руководству обществом*.

99.

Вместе с мировой войной и связанным с ней крахом международной социал-демократии авторитарный идеологический радикализм большевиков распространился по всему миру. Кровавый конец демократических иллюзий рабочего движения превратил весь мир в Россию, и большевизм, воцарившийся на первом революционном переломе, вызванном этим эпохальным кризисом, предложил пролетариату всех стран свою иерархическую и идеологическую модель: “говорить по-русски” с господствующим классом. Ленин упрекал марксизм II Интернационала не за то, что он был революционной *идеологией*, но за то, что он перестал ею быть.

100.

В тот же исторический момент, когда большевизм триумфально *осуществился* в России, а социал-демократия победоносно боролась *за старый мир*, становится зримым окончательное возникновение нового порядка вещей, бытующего в самой средоточии господства современного спектакля: *рабочее представительство* радикально противопоставило себя своему классовому началу.

101.

“Во всех предшествующих революциях – писала Роза Люксембург в “Rote Fahne” 21 декабря 1918 года, – сражающиеся сходились с открытым забралом: класс против класса, программа против программы. В революции настоящей силы, защищающие старый порядок выступают не под вывеской правящих классов, но под флагом “социал-демократической партии”. Если бы главный вопрос революции был поставлен открыто и честно: капитализм или социализм – никакие сомнения и колебания для огромной массы пролетариата были бы сегодня невозможны”. Вот так, за несколько дней до своего разгрома радикальное течение немецкого пролетариата вскрыло тайну новых условий, сформированных всем ходом предшествовавшего развития (чему в огромной степени способствовало *рабочее представительство*): театральная организация защиты существующего порядка, общественное господство кажимостей, где никакой “главный вопрос” уже не может ставиться “открыто и честно”. Революционное представительство пролетариата на этой стадии стало сразу и главным фактором, и основным результатом общей фальсификации общества.

102.

Организация пролетариата по большевистской модели, порожденная и отставанием России, и отказом рабочего движения развитых стран от революционной борьбы, обнаружит в русском отставании и все те условия, что затем приводят эту форму организации к контрреволюционному оборачиванию, предрасположенность к которому она бессознательно заключала в себе изначально. Неоднократные же отступления массы европейского рабочего движения перед вызовом *Hic Rhodus hic salta* в период 1918-1920 годов, – отступления, потворствовавшие насильственному разгрому радикального меньшинства пролетариата, благоприятствовали полному развитию этого процесса, так что его ложный результат смог выступить перед миром как естественный исход пролетарского движения. Захват государственной монополии на представление и защиту власти рабочих, оправдывавший партию большевиков, вынудил ее *стать тем, чем она была*: партией собственников пролетариата, по существу исключившей прежние формы собственности.

103.

Все условия ликвидации царизма, в течение 20 лет разбираемые во всегда неудовлетворительных теоретических дебатах различных тенденций русской социал-демократии: слабость буржуазии, давление крестьянского большинства, решающая роль сосредоточенного и боевого пролетариата, хотя и составлявшего чрезвычайное меньшинство в стране, – в конце концов, обнаружилось в практике ее решений через не представленную в ее гипотезах данность: революционная бюрократия, которая направляла пролетариат, овладев государством, навязала обществу новое классовое господство. Буржуазная революция в строгом смысле была невозможна, “ демократическая диктатура рабочих и крестьян” – лишена смысла; пролетарская власть Советов не могла удержаться одновременно против класса собственников-крестьян, белогвардейской и международной реакции и собственного отчужденного и овнешненного представительства в виде рабочей партии абсолютных хозяев государства, экономики, средств выражения, а вскоре и мысли. Теория перманентной революции Троцкого и Парвуса, к которой в апреле 1917 г. На самом деле присоединился и Ленин, была единственной теорией, которой суждено было стать истинной – но только после введения неизвестного фактора, каковым была классовая власть бюрократии, – для отсталых в отношении общественного развития буржуазии стран. Тезис о необходимости сосредоточения диктатуры в руках высшего идеологического представительства в многочисленных дебатах большевистского руководства наиболее последовательно защищался Лениным. И Ленин каждый раз оказывался прав по отношению к своим противникам, потому что отстаивал решение, уже предполагаемое предыдущими решениями власти абсолютного меньшинства: ибо в демократии, в которой через *государственные решения* было отказано крестьянам, необходимо было отказать и рабочим, что далее привело к отказу в ней и коммунистам, руководящим профсоюзами, и, в конце концов, всей партии вплоть до ее иерархической верхушки. На X Съезде в момент, когда Кронштадтский Совет был разгромлен войсками и погребен под горами клеветы, Ленин сформулировал заключение, направленное против левацких бюрократов, организованных в “ Рабочую оппозицию” , чью логику Сталин доведет до логики свершившегося раздела мира: “Либо – тут, либо – там, с винтовкой, а не с оппозицией ... оппозиции теперь конец, крышка, довольно нам оппозиций!”

104.

Бюрократия, оставшаяся единственной собственницей *государственного капитализма*, прежде всего, путем временного союза с крестьянством, обеспечила свою власть внутри страны, а после Кронштадта, во времена “ новой

экономической политики” , защищая ее на международной арене, использовала рабочих, внедренных в бюрократические партии III Интернационала, в качестве резервной силы русской дипломатии – для саботирования революционного движения и поддержки буржуазных правительств, на чью помощь она рассчитывала в международной политике (власть Гоминьдана в Китае 1925-1927 гг., Народный фронт в Испании и Франции и т. д.). Но бюрократическому обществу еще только предстояло добиться собственного окончательного оформления через террор по отношению к крестьянству, чтобы осуществить самое жестокое в истории первоначальное накопление капитала. Эта индустриализация сталинской эпохи вскрывает последнюю реальность *бюрократии*: она – продолжение власти экономики, спасение самой сути рыночного общества, только теперь это – труд как товар. Это доказательство того, что независимая экономика распространяет свое господство над обществом вплоть до воссоздания в собственных целях необходимого для нее классового господства; иными словами, буржуазия создает некую автономную мощь, которая, до тех пор, пока сохраняется эта автономия, может обходиться даже и без буржуазии. Тоталитарная бюрократия является не “последним классом собственников в истории”, в смысле Бруно Рицци, а только *эрзацем господствующего класса* рыночной экономики. Отсутствующая капиталистическая частная собственность замещается менее диверсифицированным упрощенным субпродуктом, *сосредоточенным* в коллективной собственности бюрократического класса. Эта недоразвитая форма господствующего класса является также выражением экономической недоразвитости и не имеет иной перспективы, кроме как постоянно нагонять отставание в подобном развитии в некоторых регионах мира. Именно рабочая партия, организованная по буржуазной модели общественного разделения, и обеспечила это дополнительное издание господствующего класса кадрами государственной иерархии. Находясь в сталинской тюрьме, Антон Цылига отмечает: “Выходит, что вопросы технической организации являются социальными” (*Ленин и революция*).

105.

Революционная идеология – это *сплачивание разделенного*, интенсивнейшее волюнтаристское усилие к осуществлению какового явлено в ленинизме, – предполагает овладение отторгающей ее действительностью, при сталинизме, однако, *вновь возвращается к своей истинности в бессвязности*. И в этот момент идеология уже не оружие, но цель. Ложь, более не опровергаемая, превращается в безумие. Действительность, как и цель, размывается в тоталитарной идеологической пропаганде: все, что она говорит, и есть то, что есть. Теперь это – местный примитивизм спектакля, чья роль в развитии спектакля мирового, тем не менее, является очень существенной. Материализовавшаяся в нем идеология не преобразовала мир экономически, подобно достигнутому стадии избыточности капитализму, – она только по-полицейски трансформировала *восприятие*.

106.

Идеологически-тоталитарный класс у власти есть власть обращенного мира: чем он сильнее, тем более он утверждает, будто его не существует, и сама его сила служит ему, прежде всего, для того, чтобы утверждать свое несуществование. Он скромнен лишь в этом пункте, ибо его формальное несуществование должно также совпадать с *пес plus ultra* исторического развития, чьему непогрешимому управлению все как раз и должны быть обязаны. Повсюду выставленная на обозрение бюрократия должна быть *классом, невидимым* для сознания, так что вся общественная жизнь становится безумной. Из этого

фундаментального противоречия и вытекает социальная организация абсолютной лжи.

107.

Сталинизм был царствием ужаса и для самого бюрократического класса. Терроризм, обоснований власть этого класса, неизбежно должен был поразить и сам этот класс, ибо последний не обладал никакими юридическими гарантиями, никаким признанным существованием в качестве класса собственников, которые он мог бы распространить на каждого из своих членов. Его действительная собственность остается скрытой, и он превращается в собственника лишь посредством ложного сознания. Ложное же сознание поддерживает свою абсолютную власть только через абсолютный террор, при котором, в конце концов, угасает всякая истинная мотивация. Члены находящегося у власти бюрократического класса имеют право на обладание обществом лишь коллективно, как соучаствующие в одной фундаментальной лжи, ибо необходимо, чтобы они играли роль пролетариата, управляющего социалистическим обществом и были исполнительными актерами, верными сценарию идеологической неверности. Но действительное соучастие в этом ложном бытии должно рассматривать себя как признанное в качестве подлинной сопричастности. Ни один бюрократ не может индивидуально удерживать свое право на власть, ибо показать, что он является социалистическим пролетарием, значило бы проявить себя как полная противоположность бюрократу, показать же, что он является бюрократом – совершенно невозможно, поскольку официальная истина бюрократии – это не быть. Итак, каждый бюрократ существует в абсолютной зависимости от *главной* идеологической *гарантии*, которая признает коллективную сопричастность к своей “ социалистической власти” *всех бюрократов, которых она не уничтожает*. И если всё решают все вместе взятые бюрократы, то сплоченность их собственного класса может обеспечиваться лишь через сосредоточение их террористической власти на одной личности. В этой личности сохраняется единственная практическая истина лжи, находящейся у *власти*: никогда не обсуждаемое определение ее постоянно выправляемого предела. Сталин без каких-либо обсуждений решал, кто же, в конечном счете, является владетельным бюрократом, то есть кого следует называть “пролетарием у власти”, а кого “предателем на содержании Микадо и Уолл-стрита”. Бюрократические атомы находили общую суть собственного права только в личности Сталина. И Сталин был властителем мира, таким образом осознающим себя абсолютной личностью, для чьего сознания не существовало более высокого разума. “Властитель мира обладает действительным сознанием того, что он такое – универсальная власть над действительностью, осуществляемая в разрушительном насилии, направленном им против ему предстоящих я его подданных”. В то же время он и власть, определяющая основание господства, но и “*мощь, взрывающая это основание*”.

108.

Когда идеология, посредством обладания абсолютной властью ставшая абсолютной, превратилась из частного познания в тоталитарную ложь, историческое мышление было уничтожено столь основательно, что сама история даже на самом эмпирическом уровне познания уже не могла существовать. Тоталитарное бюрократическое общество живет в вечном настоящем, где все, что случается, существует только как подлежащее его надзору пространство. Сформулированный еще Наполеоном принцип “по-монаршьи править энергией воспоминаний” обрел полную конкретизацию в постоянной манипуляции прошлым не только в сфере значений, но и фактов. Но ценой этого освобождения от всякой исторической реальности является утрата рациональной референции, которая

необходима для *исторического* общества капитализма. Известно, чего стоило русской экономике научное приложение обезумевшей идеологии, взять хотя бы самонадеянное невежество Лысенко. Это противоречие управляющей индустриализованным обществом тоталитарной бюрократии, зажатой между своей потребностью в рациональном и отказом от рационального, составляет также один из ее главных недостатков по сравнению с нормальным капиталистическим развитием. Наряду с тем, что бюрократия хуже решает вопросы сельского хозяйства, она, в конечном счете, уступает капитализму и в индустриальном производстве, авторитарно планируемого на основе не реалистичности и возводимой в принцип лжи.

109.

Революционное рабочее движение между двумя войнами было уничтожено совместными действиями сталинской бюрократии и фашистского тоталитаризма, который заимствовал свою организационную форму у проведенной эксперимент в России тоталитарной партии. Фашизм был чрезвычайным средством защиты буржуазной экономики, находящейся под угрозой кризиса и пролетарского ниспровержения, объявленным в капиталистическом обществе *осадным положением*; им это общество себя спасало и устраивало срочную первичную рационализацию, в массовом порядке вынуждая государство вмешаться в его управление. Но такая рационализация сама была отягощена чудовищной нерациональностью своих средств. Если фашизм и был направлен на защиту главных ценностей ставшей консервативной буржуазной идеологии (семья, собственность, моральный порядок, нация), объединяя мелкую буржуазию и безработных, обезумевших от кризиса или разочарованных бессилием социалистической революции, то сам он по существу идеологическим не являлся. Он был тем, за что себя выдавал: насильственным восстанием *мифа*, требующим сопричастности к сообществу, определяющемуся архаическими псевдоценностями расы, крови, вождя. Фашизм – это *технически оснащенная архаика*. Его разложившийся мифический *эрзац* и воспроизводится в зрелищном контексте наисовременнейшими средствами психологической обработки и конструирования иллюзий. Таким образом, он является одним из факторов в формировании современного спектакля, так же как его участие в разрушении прежнего рабочего движения превратило его в одну из сил, заложивших основы современного общества. Однако, поскольку фашизм также оказался и наиболее *дорогостоящей формой* поддержания капиталистического порядка, ясно, что ему пришлось покинуть авансцену, где главные роли играют капиталистические государства, и его заменили более рациональными и устойчивыми формами этого порядка.

110.

Когда русской бюрократии, наконец, удалось отделаться от последних следов буржуазной собственности, которые сковывали ее господство над экономикой, развить эту экономику для использования в собственных целях, и добиться признания великих держав на международной арене, она возжелала спокойно наслаждаться собственной частью мира и ликвидировать ту долю произвола, которую она применяла к самой себе – и она разоблачает сталинизм, ею же порожденный. Но такое разоблачение само остается сталинистским, произвольным, необъяснимым, без конца корректируемым, ибо *идеологическая ложь его происхождения никогда не может быть открыта*. Таким образом, бюрократия не в силах либерализовать себя ни культурно, ни политически, ибо ее существование как класса зависит от ее идеологической монополии, которая при всей своей тяжеловесности является ее единственным видом собственности. Идеология, несомненно, утратила страсть к позитивному самоутверждению, но то, что сохраняется в ее безразличной банальности, еще обладает той репрессивной

функцией запрета малейшей конкуренции, которая держит скованной всю полноту мысли. Бюрократия, таким образом, связана с идеологией, в которую больше никто не верит. То, что было террористическим, превратилось в смехотворное, но эта смехотворность может поддерживаться, только при сохранении на заднем плане террора, от коего она хотела бы освободиться. И даже тогда, когда бюрократия стремится показать свое превосходство над миром капитализма, она признает себя его *бедной родственницей*. Подобно тому, как ее действительная история находится в противоречии с ее правом, а ее невежество откровенно противоречит ее научным претензиям, ее планы соперничества с буржуазией в производстве товарного изобилия подрываются тем, что такое изобилие несет в себе *свою имплицитную идеологию* и обычно сопровождается бесконечно расширяющейся свободой ложных показных решений, псевдо-свободой, которая остается несовместимой с бюрократической идеологией.

111.

На современном этапе развития право бюрократии на идеологическую собственность рушится уже в международном масштабе. Власть, установившаяся национально в качестве фундаментально интернационалистской модели, должна признать, что она не может больше претендовать на то, чтобы поддерживать свою ложную сплоченность за пределами каждой из национальных границ. Неравенство экономического развития, с которым столкнулись разные типы бюрократии с конкурирующими интересами, которым удалось вывести свой “социализм” за пределы одной страны, приводит к публичному и всестороннему противостоянию лжи русской и лжи китайской. С этого момента, каждая бюрократия, находящаяся у власти, или каждая тоталитарная партия, претендующая на власть, в некоторых национальных отрядах рабочего класса бесхозную после периода сталинизма, должна следовать своим собственным путем. Добавляющееся к проявлениям внутреннего отрицания, впервые представленного миру в рабочем восстании в Восточном Берлине, противопоставившем бюрократам свое требование “правительства металлургов” и однажды уже пришедшее к власти в форме рабочих советов в Венгрии, всемирное разложение союза бюрократической мистификации, в конечном счете, является наиболее неблагоприятным фактором для современного развития капиталистического общества. Теперь буржуазия теряет своего противника, который ее поддерживал объективно, иллюзорно сосредотачивая всякое отрицание существующего порядка. Такое разделение зрелищного труда приходит к концу, когда, в свою очередь, осуществляется разделение его псевдореволюционной роли. Зрелищный элемент разложения рабочего движения разлагается сам.

112.

Сегодня у ленинистской иллюзии нет иной актуальной базы, кроме различных троцкистских течений, в которых отождествление пролетарского проекта с иерархической идеологической организацией сохраняется непоколебимым, несмотря на испытание всех последствий такового. Дистанция, отделяющая троцкизм от революционной критики современного общества, допускает и предполагает существование столь же почтительной дистанции, что он соблюдает в отношении позиций, уже бывших ложными, когда они применялись в реальной борьбе. Вплоть до 1927 года Троцкий оставался жестко спаянным с высшей бюрократией, стремясь полностью овладеть ею, дабы побудить к возобновлению действительно большевистского действия на внешней арене (известно, что в ту пору, чтобы помочь скрыть знаменитое “завещание Ленина”, он дошел даже до того, что подло отрекся от своего сторонника Макса Истмена, это завещание обнародовавшего). Троцкий был осужден за свою главную идею,

потому что в эпоху, когда бюрократия по собственным плодам уже опознала себя внутри страны как контрреволюционный класс, ей также пришлось избрать контрреволюционность и во внешней политике во имя *будто бы проводимой у себя* революции. Последующая борьба Троцкого за IV Интернационал содержит ту же непоследовательность. Он всю свою жизнь отказывался признавать в бюрократии власть разделенного класса, так как в течение второй русской революции оказался безусловным сторонником большевистской формы организации. Когда Лукач в 1923 году показал в этой форме наконец обнаруженное опосредование между теорией и практикой, при котором пролетарии перестают быть “*зрителями*” событий, происходящих в их организации, но сознательно им содействуют и их переживают, он описывал в качестве действительных достоинств партии большевиков все то, чем партия большевиков *не являлась*. Помимо своей глубокой теоретической работы, Лукач оставался еще и идеологом, говорящим от имени власти, самым заурядным и грубым образом внешней по отношению к пролетарскому движению, полагая сам и заставляя верить, что он сам, всей своей личностью целиком находится внутри этой власти как *его собственной*. Когда же впоследствии раскрывалось, каким образом эта власть отрекалась от своих приспешников и подавляла их, Лукач, раз за разом разоблачая самого себя, с карикатурной четкостью демонстрировал, с чем в точности он себя отождествлял: с *противоположностью* самого себя и всего того, чего он придерживался в своей книге *История и классовое сознание*. Лукач лучше всех подтверждает основное правило, по которому судят обо всех интеллектуалах этого века: то, что они *почитают*, в точности соразмерно их собственной *ничтожной* реальности. Хотя Ленин не питал такого рода иллюзий насчет собственной деятельности, ибо понимал, что “политическая партия не может экзаменовывать своих членов, чтобы выяснить существуют ли противоречия между их философией и программой партии”. Та действительная партия, чей романтический портрет совершенно некстати нарисовал Лукач, была сплочена для выполнения лишь одной частной и конкретной задачи: захватить власть в государстве.

113.

Неоленинистская иллюзия современного троцкизма, все время опровергаемая действительностью современного капиталистического общества, сколь буржуазного, столь и бюрократического, естественно находит привилегированное поле для своего применения в формально независимых “слаборазвитых” странах, где иллюзия любого варианта государственного бюрократического социализма сознательно подтасовывается местными правящими классами как *попросту идеология экономического развития*. Гибридная смесь этих классов более или менее четко соотносится с некоей градацией в буржуазно-бюрократическом спектре. Их взаимодействие в международном масштабе между этими двумя полюсами существующей капиталистической власти, равно как и их идеологические компромиссы (особенно с исламизмом), выражающие гибридную реальность их социальной базы, завершаются изъятием из этого последнего субпродукта идеологического социализма всего существенного, за исключением его полицейской роли. Бюрократия может сформироваться, возглавляя и национально-освободительную борьбу, и аграрные бунты крестьян, – и тогда, как это было в Китае, она стремится в обществе, менее развитом, чем Россия 1917 года, применять сталинскую модель индустриализации. Бюрократия, способная индустриализовать нацию, может сформироваться на основе захватывающих власть военных кадров из среды мелкой буржуазии, как это было в Египте. В других местах, как в Алжире по окончании войны за независимость, бюрократия, сложившаяся во время войны как полугосударственное руководство, ищет точку

равновесия в компромиссе, чтобы слиться со слабой национальной буржуазией. Наконец, в бывших колониях черной Африки, которые остаются очевидно связанными с западной буржуазией, американской и европейской, буржуазия складывается (чаще всего на основе власти традиционных племенных вождей) *через обладание государством*, ибо в тех странах, где иностранный империализм остается истинным хозяином экономики, наступает некая стадия, когда *компрадоры* в качестве компенсации за продажу туземных продуктов получают собственность на туземное государство, независимое от местных народных масс, но не от империализма. В этом случае речь идет о некоей искусственной буржуазии, которая не способна накапливать, но просто *транжирит* часть прибавочной стоимости местного труда, возвращаемую ей в виде иностранных субсидий покровительствующих государств или монополий. Очевидная неспособность этих буржуазных классов выполнять нормальную экономическую функцию буржуазии приводит к тому, что для их ниспровержения собираются организованные по бюрократической модели более или менее приспособленной к местным условиям силы, которые желают захватить ее достояние. Но и сам успех бюрократии в ее фундаментальном проекте индустриализации необходимо содержит в себе перспективу ее исторического поражения, ибо, накапливая капитал, она сосредоточивает пролетариат, тем самым содействуя созданию прежде не существовавших предпосылок для собственного ниспровержения.

114.

В том сложном и ужасном развитии, ввергнувшем эпоху классовых битв в новые условия, пролетариат индустриальных стран полностью утратил утверждение своей автономной перспективы, и, в конечном счете, свои иллюзии, но не свое бытие. Он не был уничтожен. Он неумолимо продолжает существовать в интенсифицированном отчуждении современного капитализма, ибо он – это громадное большинство трудящихся, потерявших всякую власть распоряжаться собственной жизнью, которые, *осознавая это*, заново определяют себя как пролетариат, как действующее в этом обществе отрицание. Этот пролетариат объективно усиливается как продолжающимся исчезновением крестьянства, так и распространением логики заводского труда, переносимой на значительную часть “ сферы услуг” и интеллектуальных профессий. *Субъективно* этот пролетариат еще отдален от его практического классового сознания, и не только в среде служащих, но и в среде рабочих, еще только открывающих беспомощность и мистификации старой политики. Однако, когда пролетариат обнаруживает, что его собственная овнешненная сила способствует постоянному усилению капиталистического общества не только в форме его труда, но и в форме профсоюзов, партий или государственной власти, которые он создал ради собственного раскрепощения, то через конкретный исторический опыт он также открывает, что является классом, тотально враждебным всякому застывшему овнешнению и всякой властной специализации. Он несет в себе *революцию, неспособную ничего оставить внешним по отношению к самой себе*, требование постоянного господства настоящего над прошлым и тотальную критику разделения – и это именно то, для чего он должен найти адекватную форму в действии. Никакое количественное послабление его нищеты, никакие иллюзии иерархической интеграции не являются радикальным средством от его неудовлетворенности, ибо пролетариат поистине не может признать ни частную несправедливость, которую он когда-либо претерпел, ни, следовательно, *возмещение какой-либо частной несправедливости*, ни огромное число этих несправедливостей, но только *несправедливость абсолютную* – быть отброшенным на обочину жизни.

115.

По новым знакам отрицания, не понимаемым и фальсифицируемым через общее обустройство спектакля, множась в экономически наиболее развитых странах, можно уже сделать вывод, что теперь началась новая эпоха: после первой попытки рабочего ниспровержения *теперь рухнуло самую капиталистическое изобилие*. Когда антипрофсоюзная борьба западных рабочих подавляется, прежде всего, самими профсоюзами и когда мятежные молодежные движения заявляют первый еще неоформленный протест, в котором, тем не менее, непосредственно заключен отказ от старой специализированной политики, от искусства и от повседневной жизни, – то как раз в этом проявляются две грани новой спонтанной борьбы, которая начинает вестись под новым обликом *криминального*. Это предзнаменования второго пролетарского штурма классового общества. И когда пропавшие дети этой все еще неподвижной армии вновь появятся на этом поле битвы, изменившемся, но оставшемся тем же самым, они последуют за новым “генералом Луддом”, который на этот раз бросит их на разрушение *машин дозволенного потребления*.

116.

“Наконец-то открытая политическая форма, при которой могло бы осуществиться экономическое освобождение труда” в этом веке обрела свой четкий образ в Советах революционных рабочих, сосредотачивающих в себе все законодательные и исполнительные функции и образующих федерацию посредством делегатов, ответственных перед рядовыми членами и отзываемых в любой момент. Их фактическое существование было всего лишь непродолжительной попыткой действия, тут же опровергнутой и побежденной различными силами, защищающими классовое общество, причем в ряду таковых зачастую оказывалось и их собственное ложное сознание. Паннекук справедливо настаивал на том обстоятельстве, что вопрос о выборе власти в Советах рабочих скорее “ставит проблемы”, чем предлагает решения. Но эта власть как раз и является местом, где проблемы революции пролетариата могут найти истинное решение. Это место, где воссоединяются объективные условия исторического сознания, осуществления прямой *активной* коммуникации, где заканчиваются специализация, иерархия и разделение и где существующие условия оказываются преобразованными “в условия единения”. Здесь в борьбе против созерцательной установки может возникнуть пролетарский субъект, ибо его сознание равнозначно практической организации, которую он создает для себя, ибо само это сознание неотделимо от сплоченного вторжения в историю и последовательного участия в ней.

117.

Во власти Советов, которая в международном масштабе должна вытеснить всякую иную власть, пролетарское движение является ее собственным продуктом, а этот продукт и есть сам производитель. Он сам является своей собственной целью. Ибо только в нем, в свою очередь, отрицается зрелищное отрицание жизни.

118.

Появление Советов было наивысшей реальностью пролетарского движения в первой четверти века, реальностью, оставшейся не воспринятой или извращенной, ибо она исчезла с остатками движения, разоблаченного и вытесненного совокупностью тогдашнего исторического опыта. Но теперь, в новую эпоху пролетарской критики тот же итог возникает вновь в качестве единственного не опровергнутого и не преодоленного положения побежденного движения. Историческое сознание, знающее, что оно имеет в нем единственную область существования, теперь может признать его уже не только на периферии уходящего, но в самом средоточии надвигающегося.

119.

Революционная организация, существовавшая до власти Советов, (ей еще только суждено было в борьбе обрести собственную форму) по всем указанным историческим причинам уже знала, что она *не представляет* класса. И ей только нужно осознать самое себя как радикальное разделение с *миром разделения*.

120.

Революционная организация есть последовательное выражение теории практической деятельности, вступающей в не однолинейную коммуникацию с разными видами практической борьбы, постепенно претерпевая становление в практическую теорию. И ее собственная практика есть обобщение в этой борьбе и подобной коммуникации, и последовательности. В революционную эпоху разложения общественного разделения эта организация должна признать свое собственное разложение в качестве организации, основанной на разделении.

121.

Революционная организация может существовать только как единая критика общества, то есть как критика, не вступающая в соглашения ни с одной формой власти, основанной на разделении, ни в одной точке мира, как критика, повсеместно провозглашаемая против всевозможных видов отчужденной общественной жизни. В борьбе революционной организации против классового общества орудием является не что иное, как *сущность* самих сражающихся: ибо революционная организация не может воспроизводить в себе условия раскола и иерархии, которые являются условиями господствующего общества. Она должна постоянно бороться против собственного искажения в царящем спектакле. Единственный предел соучастия в тотальной демократии революционной организации – это признание и действительное самоприсвоение всеми ее членами последовательности ее критики, последовательности, которая должна свидетельствовать о себе в критической теории в собственном смысле и в связи последней с практической деятельностью.

122.

Когда все более и более совершенное осуществление капиталистического отчуждения на всех уровнях, все более затрудняет для рабочих возможность признать и обозначить их собственную нищету, и таким образом ставит перед ними альтернативу: либо неприятие *тотальности их нищеты*, либо *ничто*, – революционная организация должна суметь понять, что она больше не может *бороться с отчуждением в отчужденных формах*.

123.

Пролетарская революция вся целиком ставится под вопрос этой необходимостью, которая впервые выдвигает то требование, чтобы именно теория в качестве постижения человеческой практики была признана и пережита массами. Она требует, чтобы рабочие стали диалектиками и вписали свое мышление в рамки практики. Таким образом, она требует от *людей без свойств* гораздо большего, нежели буржуазная революция требовала от тех профессионалов, которым было препоручено ее осуществление; ведь частичное идеологическое сознание, выстроенное рядом представителей буржуазного класса, имело своей основой ту центральную *часть* общественной жизни – экономику, – где этот класс *уже был у власти*. Значит, само развитие классового общества в зрелищную организацию не-жизни ведет революционный проект к становлению в *очевидности* тем, чем он уже был *сущностью*.

124.

Сегодня революционная теория – враг любой революционной идеологии, *и она знает, что является таковой*.

Глава 5. Время и история.

“О, джентльмены, жизнь коротка... И если уж мы живем, то живем, чтобы ходить по головам королей”.

У. Шекспир. Генрих IV.

125.

Человек, “негативность, *сущее* лишь через снятие Бытия”, тождественен времени. Присвоение человеком его собственной природы – это еще и его овладение развитием вселенной. “Сама история является важной частью *истории естественной*, истории становления природы в человека” (Маркс). И наоборот, эта “естественная история” обладает действительным существованием, лишь благодаря процессу истории человеческой, той единственной ее части, которая воссоздает это историческое целое, – подобно современному телескопу, чья мощь позволяет достигать *во времени* туманности, уносящиеся на периферию вселенной. История существовала всегда, но не всегда она существовала в своей исторической форме. Такому овременению человека, как оно осуществляется в опосредовании общества, соответствует очеловечивание времени. Бессознательное движение времени проявляется и *становится истинным* в историческом сознании.

126.

Собственно историческое движение, пусть *еще неявно* начинается через медленное и неощутимое формирование “действительной природы человека”, той “природы, что рождается в человеческой истории – в порождающем действии человеческого общества”; но даже общество, овладевшее техникой и языком, является продуктом собственной истории, осознает лишь вечное настоящее. В этом обществе любое познание, будучи ограниченным памятью старейших его членов, всегда поддерживается *живущими*. Ни смерть, ни размножение не понимаются как законы времени. Время остается неподвижным, подобно замкнутому пространству. Когда же ставшее более сложным общество приходит к осознанию времени, все его старания, прежде всего, направляются на отрицание времени, ибо оно видит в нем не то, что проходит, но то, что возвращается. Статичное общество организует время в соответствии со своим непосредственным опытом природы, по модели *циклического* времени.

127.

Циклическое время господствует уже в опыте кочевых народов, ибо в каждом моменте их переходов они застают одни и те же условия, – и потому Гегель отмечает, что “странствие кочевников является лишь формальным, ибо оно не выходит за пределы однородных пространств”. Общество, обосновываясь в определенной местности, придает пространству некое содержание через обустройство индивидуализированных мест и оказывается тем самым замкнутым внутри этого местоположения. Временной возврат в схожие места является теперь чистым возвратом времени в то же самое место, повторением последовательности действий. Переход же от пастушеского кочевничества к оседлому земледелию кладет предел ленивой и бессодержательной свободе и служит началом тяжелого труда. Вообще, способ сельскохозяйственного производства, подчиненный ритму времен года, является основой вполне развернутого циклического времени. Вечность *внутренне* присуща ему, ибо эта земная доля есть возвращение того же самого. Миф – это целостная

мыслительная реконструкцией мысли, обосновывающая весь космический порядок строем, который это общество на деле уже установило в своих границах.

128.

Общественное присвоение времени, производство человека посредством человеческого труда развивается в обществе, разделенном на классы. Власть, установившаяся над скудостью общества циклического времени, класс, организующий этот общественный труд и присваивающий себе его ограниченную прибавочную стоимость, в равной степени присваивает также и *временную прибавочную стоимость* организации его общественного времени, и потому он исключительно для себя обладает необратимым временем живущего. Единственное богатство, которое может существовать как сосредоточенное в секторе власти, чтобы быть материально растроченным в расточительном празднике, оказывается в нем растроченным еще и в качестве растраты *исторического времени верхушки общества*. Собственникам исторической прибавочной стоимости принадлежит и познание, и использование переживаемых событий. Это время, отделенное от коллективной организации времени, преобладающее вместе с повторяющимся производством основ общественной жизни, течет над собственным неподвижным сообществом. Это время походов и войн, когда господа циклического общества проходят свою личную историю, но в равной степени это еще и время, возникающее в столкновении с чужими сообществами, время нарушения неизменного общественного строя. Следовательно, история захватывает людей врасплох как некая чуждая сила, как то, чего они не желали и от чего считали себя укрытыми. Но этим окольным путем возвращается также и то негативное *беспокойство* человеческого, бывшее в самом истоке всего развития, затем остановившегося.

129.

Циклическое время само по себе является временем бесконфликтным. Однако в самом этом детстве времени уже заложен конфликт: ведь история борется, прежде всего, за то, чтобы быть историей практической деятельности господ. Эта история и создает необратимое на поверхности, ее движение составляет то самое время, которое исчерпывается ею внутри неисчерпаемого времени циклического сообщества.

130.

“Холодные общества” – это общества, которые, удерживая в постоянном равновесии свое противостояние по отношению к человеческому и естественному окружению и внутренние противоречия между последними, до крайности замедлили свою историческую составляющую. И если крайнее разнообразие возникших ради этого институтов свидетельствует о гибкости самотворящей человеческой природы, то само подобное свидетельство, очевидно, может принадлежать только внешнему наблюдателю, этнографу, *вернувшемуся* из исторического времени. В каждом из этих обществ окончательная структурация исключила изменение. Абсолютная косность существующих общественных практик, с коими оказываются навечно отождествлены все человеческие способности, теперь не имеет иного внешнего предела, кроме боязни вновь впасть в аморфность животного состояния. Здесь, чтобы оставаться в рамках человеческого, люди должны оставаться теми же самими.

131.

Рождение политической власти, как представляется, связанное с последними великими техническими революциями, например, такими, как плавка железа, на пороге периода, который вплоть до появления промышленности уже не узнает никаких глубоких потрясений, помимо прочего, представляет собой момент начала размывания кровнородственных связей. С той поры последовательность

поколений выходит за пределы простого естественного цикла, для того чтобы стать ориентированной событийностью, последовательностью властных образований. Необратимое время – это время того, кто царствует, и его первой мерой являются династии. Его оружие – письменность. В письменности язык достигает полностью независимой реальности опосредования между сознаниями. Но эта независимость тождественна общей независимости власти, возникшей на основе разделения, как опосредование, которое конституирует общество. Вместе с письменностью появляется сознание, которое больше не переносится и не передается через непосредственную связь живых людей; это – *безличная память*, память общественного управления. “Письмена – это мысли государства, архивы – его память” (Новалис).

132.

Хроника – это выражение необратимого времени власти, а также орудие, поддерживающее направленное волей поступательное движение этого времени исходя из предшествующего ему предначертания, и подобная направленность времени должна насильственно разрушаться вместе с падением каждой отдельной власти, впадая в безразличное забвение того циклического времени, которое только и знают крестьянские массы, никогда не изменяющиеся при крушении империй и их хронологий. *Властители истории* вложили во время *некий смысл* – направление, которое также является и означиванием. Но эта история разворачивается и распадается в стороне, оставляя неизменными глубинные основы общества, ибо она является как раз тем, что остается выделенным из обыденной действительности. Вот почему история империй Востока сводится для нас к истории религий: эти превратившиеся в развалины хронологии не оставили после себя ничего, кроме по видимости автономной истории окутывавших их иллюзий. Господа, которые под покровительством мифа овладевают *частной собственностью на историю*, на самом деле, поначалу владеют ею в режиме иллюзии: и в Китае, и в Египте они долго обладали монополией на бессмертие души, точно так же, как их первые признанные династии являли собой воображаемое обустройство прошлого. Но это иллюзорное обладание господ также является и самым возможным в ту эпоху обладанием историей – как общей, так и их собственной. Расширение их действительной власти над историей происходит параллельно вульгаризации этого иллюзорного мифического обладания. Все это вытекает из того простого факта, что по мере того, как господа возлагали на себя обязанность посредством мифа обеспечивать постоянство циклического времени, подобно тому, как это было в сезонных ритуалах китайских императоров, сами они оказывались от него относительно свободными.

133.

Когда же не разъясняемая сухая хронология обожествленной власти, говорящей со своими служителями, желает пониматься только в качестве земного исполнения мифических заповедей, но оказывается преодоленной и становится сознательной историей, возникает необходимость, чтобы действительное соучастие в истории было пережито более обширными человеческими группами. Из этого практического способа сообщения между теми, кто *признал в себе* обладателей особого настоящего, испытал качественное богатство событий как собственную деятельность, и как место, где они жили – их эпоху, – рождается всеобщий язык сообщения исторического. Те же, для кого необратимое время уже существовало, открывают в нем одновременно и *достопамятное*, и *угрозу забвения*: “Геродот из Галикарнаса излагает здесь добытые им сведения, дабы время не уничтожило деяния людей...”.

134.

Рассуждение об истории неотделимо от *рассуждения о власти*. Греция была тем мгновением, когда власть и ее изменение обсуждались и понимались – *демократией господ* общества. Здесь были условия противоположные условиям, характерным для деспотического государства, где власть всегда давала отчет только самой себе в непроницаемой тьме максимума своего самососредоточения – в *дворцовых переворотах*, успех или крах которых равным образом оставляли ее вне обсуждения. Между тем, разделяемая власть греческих полисов существовала лишь в *расходождении* общественной жизни, производство которой оставалось в подневольном классе полностью отделенным и неизменным. Лишь тот, кто не работает – живет. В дроблении греческих полисов и в борьбе за эксплуатацию иноземных колоний был распространен вовне принцип разделения, который обосновывал внутренне жизнь каждого из них. Греции, грезившей о всемирной истории, так и не удалось ни объединиться перед угрозой вторжения, ни даже унифицировать календари своих независимых городов. В Греции историческое время стало сознательным, но еще не осознающим самое себя.

135.

После исчезновения локально благоприятных условий, которые были известны греческим городам, упадок западной исторической мысли не сопровождался восстановлением прежних мифических организаций. В столкновении народов Средиземноморья, в формировании и падении Римского государства возникали *полуисторические религии*, становившиеся основополагающими факторами нового сознания времени и новыми доспехами власти, основанной на разделении.

136.

Монотеистические религии были компромиссом между мифом и историей, между еще господствовавшим в производстве циклическим временем, и необратимым временем, в котором сталкиваются и перемешиваются народы. Религии, вышедшие из иудаизма, содержат абстрактное универсальное признание необратимого времени, оказывающегося демократизированным, открытым для всех – но открытым в иллюзорное. Временем, полностью направленным на одно конечное событие: “Грядет Царствие Божие”. Хотя эти религии родились и утвердились на исторической почве – даже в этом они удерживаются в радикальной оппозиции по отношению к истории. Полуисторическая религия устанавливает качественную точку отсчета времени – Рождество Христово, Хиджра Магомета, – но ее необратимое время (вводящее действительное накопление, которое в исламе затем примет облик завоевания, а в реформированном христианстве – накопления капитала), на самом деле, превращается в религиозной мысли в некий *обратный отсчет*: ожидание во времени, которое исчерпывается, выхода в иной, истинный мир, ожидание Страшного Суда. Вечность вышла из циклического времени. Она есть его потустороннее. Она – элемент, умаляющий необратимость времени, упраздняющий историю в самой истории, помещающаяся в ней как чистая элементарная точка, в которой циклическое время вернулось и уничтожилось, выйдя *по ту сторону необратимого времени*. Еще Боссюэ скажет: “И через преходящее время мы входим в непреходящую вечность.”

137.

Средневековье – тот незавершенный мифический мир, чье завершение за его пределами есть момент, когда циклическое время, еще регулирующее основную часть производства, действительно подтачивается историей. Определенная необратимая временность индивидуально признается за всем: в последовательности возрастов жизни; в жизни, рассматриваемой как *странствие*, как безвозвратный переход в мир, чей смысл находится в ином месте, и посему человек является *паломником* – тем, кто выходит из циклического

времени, чтобы действительно стать тем странником, которым знаковым образом является каждый. Личная историческая жизнь всегда находит свое исполнение в сфере власти, в участии в борьбе – ведущейся властью или за власть; но необратимое время власти делится до бесконечности внутри общего упорядочивания, направленного времени христианской эры – в мире *вооруженного доверия*, где деятельность господ вращается вокруг требуемой верности долгу и ее опровержения. Это феодальное общество, рожденное из встречи “организационной структуры завоевательной армии, в том виде, как она развилась в ходе завоевания”, и “производительных сил, обнаруженных в завоеванной стране” (*Немецкая идеология*) (а в организации этих производительных сил нужно учитывать и их собственный религиозный язык), – раздробило господство над обществом между Церковью и государственной властью, в свою очередь, подразделенной в сложных отношениях сюзеренитета и вассалитета территориальных ленов и городских коммун. В этом разнообразии возможной исторической жизни необратимое время, бессознательно захватившее глубины общества, – время, проживаемое буржуазией в производстве товаров, в основании и расширении городов, торговом открытии Земли (практическом эксперименте, который навсегда покончил со всякой мифической организацией космоса) медленно проявляло себя как неведомая работа эпохи, когда великое официальное историческое предприятие этого мира потерпело крах вместе с крестовыми походами.

138.

На закате Средневековья необратимое время, заполонившее общество, ощущалось сознанием, привязанным к старому порядку, в форме одержимости смертью. Такова меланхолия распада мира – последнего, где безопасность мифа еще уравнивала историю; и для этой меланхолии движение любой земной вещи было направлено к ее разложению. Великие восстания крестьян Европы также были попыткой *ответа на историю*, которая насильственно вырвала их из патриархального сна, обеспеченного феодальным покровительством. Именно миллениаристская утопия *осуществления рая на земле* выводит на первый план то, что было в самом истоке полуисторической религии, когда христианские общины, как и иудейское мессианство, из которого они происходили, на все беды и несчастья эпохи отвечали ожиданием близящегося осуществления Царства Божия и добавляли в античное общество элемент беспокойства и ниспровержения. Настала пора, и христианство, разделившее власть в империи, стало развенчивать как просто предрассудки то, что осталось от этого упования: таков смысл августиновского утверждения, прототипа всех *одобрений* современной идеологии, согласно которому утвердившаяся церковь уже давно и была тем царством, о котором говорилось. Социальные бунты миллениаристского крестьянства, естественно, определяются, прежде всего, как воля к разрушению Церкви. Но сам миллениаризм разворачивается в историческом мире, а не на территории мифа. Однако это вовсе не означает того, что, как хочет продемонстрировать Норман Кон в *Поисках тысячелетнего царства*, упования современных революционеров являются иррациональным наследием религиозной страстности миллениаризма. Совсем наоборот, именно миллениаризм – революционная классовая борьба, последней говорившая языком религии, – уже и есть современная революционная тенденция, коей пока недостает *только исторического сознания*. Миллениаристам суждено было потерпеть поражение, потому что они не могли признать революцию как их собственное действие. То обстоятельство, что они ожидали начала действия по внешнему знаку Божьего решения, было переводом в мышление той практики, при которой восставшие крестьяне следуют за вождями, не принадлежащими их среде. Крестьянский класс

не мог достичь верного осознания того, как функционирует общество, и того, каким же образом следует вести собственную борьбу, именно потому, что ему не хватало условий для единения как в своем действии, так и в сознании; так что он выражал свои намерения и вел войны, сообразуясь с фантазиями о земном рае.

139.

Новое овладение исторической жизнью – Возрождение, обнаруживающее в Античности и свое прошлое, и свое право, несет в нее радостный разрыв с вечностью. Его необратимое время – это время бесконечного накопления познаний и исторического сознания, вышедшего из опыта демократических коммун; и даже разрушающие их силы будут воспроизводить, начиная с Макиавелли, рассуждения о десакрализованной власти, говорить невыразимое о государстве. В буйной жизни итальянских городов, в искусстве праздников жизнь узнавала себя как наслаждение мимолетностью времени. Но этому наслаждению мимолетным, самому суждено было быть преходящим. Песня Лоренцо Медичи, которую Буркхардт считал выражением “самого духа Возрождения”, – та хвала, в которой этот недолговечный праздник истории сам выносит себе приговор: “Как юность прекрасна, но как скоро проходит она.”

140.

Постоянное развитие монополизации исторической жизни государством абсолютной монархии формирует переход к полному господству класса буржуазии и выявляет в своей истине то, чем является новое необратимое время буржуазии. Именно со *временем труда*, впервые освобожденного от циклического времени, связана буржуазия. С появлением буржуазии труд стал *трудом, преобразующим исторические условия*. Буржуазия – это первый господствующий класс, для которого труд является стоимостью. И буржуазия, упраздняющая всяческие привилегии и не признающая никакой стоимости, которая не имела бы источником эксплуатацию труда, справедливо отождествила с трудом свою собственную ценность, как господствующего класса, и превратила прогресс труда в собственный прогресс. Класс, накапливающий товары и капитал, непрерывно видоизменяет природу, видоизменяя сам труд, стимулируя его производительность. Всякая общественная жизнь уже сосредоточилась вокруг декоративной бедности двора, в холодном наряде государственной администрации, которая достигает высшей точки в “ремесле короля”; любой же частной исторической свободе приходится пойти на признание своей утраты. Свобода необратимой временной деятельности феодалов исчерпалась в их последних проигранных битвах войн Фронды или восстания шотландцев за Чарльза-Эдварда. Мир изменился в своем основании.

141.

Победа буржуазии – это победа *глубинного исторического времени*, так как оно является временем экономического производства, постоянно снизу доверху преобразующего общество. Пока сельскохозяйственное производство остается основным трудом, циклическое время, все еще присутствующее в глубинах общества, питает объединенные силы *традиции*, которые вот-вот затормозят движение. Но необратимое время буржуазной экономики искореняет такие пережитки по всему миру. История, вплоть до этого времени возникавшая только как деятельность представителей господствующего класса и поэтому писавшаяся как история событийная, теперь понимается как *всеобщее движение*, и индивиды приносятся в жертву этому суровому движению. История, которая отыскивает собственную основу в политической экономии, теперь знает о существовании того, что было ее бессознательным, но что, тем не менее, еще остается бессознательным, пока она не сможет извлечь его на свет. И только эту слепую

предысторию, новую фатальность, над которой никто не властен, демократизировала рыночная экономика.

142.

История, присутствующая по всей глубине общества, стремится затеряться на его поверхности. Триумф необратимого времени является, к тому же, его метаморфозой во *время вещей*, потому что оружием его победы как раз и служило серийное производство вещей сообразно с законами рынка. Основным продуктом, который экономическое развитие перевело из разряда редкостной роскоши в разряд обыденного потребления, следовательно, была *история*, но только в качестве истории абстрактного движения вещей, господствующего над всяким качественным использованием жизни. Тогда как предшествовавшее циклическое время было основой все возрастающей доли исторического времени, проживаемого индивидами и группами, господство необратимого времени производства будет стремиться социально устранить это проживаемое время.

143.

Таким образом, буржуазия заставила признать и навязала обществу необратимое историческое время, но отказало обществу в его *использовании*. “История была, но ее больше нет”, потому что класс владельцев экономики, который уже не в состоянии порвать с *историей экономической*, должен также подавить как непосредственную угрозу всякое иное необратимое применение времени. Господствующий класс, созданный из *специалистов по владению вещами*, каковыми они сами являются, тем самым, благодаря этому овладению вещами, должен связать свою участь с поддержанием такой овеществленной истории, с постоянством новой неподвижности в *истории*. В первый раз трудящийся в самом основании общества материально не *чужд истории*, ибо теперь именно посредством этого основания общество развивается необратимо. В выдвигаемом им притязании *проживать* историческое время пролетариат попросту обнаруживает незабвенную суть своего революционного проекта, и каждая из попыток исполнения этого проекта, подавляемых вплоть до нашего времени, отмечает некую возможную точку отсчета новой исторической жизни.

144.

Необратимое время пришедшей к власти крупной буржуазии было сначала представлено под ее собственным именем, как абсолютное начало – Год I Республики. Но революционная идеология всеобщей свободы, которая смела последние остатки мифической организации ценностей и всякую традиционную регламентацию общества, уже позволила заметить действительную волю к тому, что прежде она обряжала в римские тоги: ко всеобщей *свободе торговли*. Рыночное общество, обнаружившее тогда, что теперь ему придется восстанавливать пассивность, которую прежде нужно было основательно расшатать ради установления собственного полного правления, “обретает в христианстве с его культом абстрактного человека... наиболее подходящее религиозное дополнение” (*Капитал*). И тогда буржуазия пошла на установление компромисса с этой религией, выразившегося также и в представлении времени: отказавшись от собственного календаря, ее необратимое время вернулось к тому, чтобы формально слиться с *христианской эрой*, чью последовательность оно продолжает.

145.

С развитием капитализма необратимое время *унифицируется в мировом масштабе*. Всемирная история становится реальностью, ибо весь мир включается в развертывание этого времени. Но история, что сразу и повсюду является одной и той же, – это, к тому же, не более чем внутри исторический отказ от истории. Именно время экономического производства, расчлененное на

равные абстрактные промежутки, появляется на всей планете как *один и тот же день*. Унифицированное необратимое время – это время *мирового рынка* и, соответственно, мирового спектакля.

146.

Необратимое время производства является, прежде всего, мерой товаров. Следовательно, время, которое, таким образом, утверждается официально на всем пространстве мира как *обобщенное общественное время*, и обозначает лишь составляющие его специализированные интересы, *является только частным временем*.

Глава 6. Зрелищное время.

“У нас нет ничего, кроме времени, коим пользуются и те, кто не имеет даже пристанища”.

Бальтасар Грасиан, Карманный оракул, или наука благоразумия.

147.

Время производства, товарное время – это бесконечное накопление эквивалентных интервалов. Это абстракция необратимого времени, все отрезки которого должны отмечать на хронометре только свое количественное равенство. Это время во всей своей фактической действительности есть то, что характеризуется *обмениваемостью*. Именно при таком общественном господстве товарного времени “время есть все, человек – ничто, он всего-навсего остов времени” (*Нищета философии*). Это обесцененное время – полное обращение времени как “пространства человеческого развития”.

148.

Всеобщее время человеческого не-развития существует также в дополнительном аспекте *времени потребляемого*, которое возвращается из этого определенного производства к повседневной жизни общества в качестве *времени псевдоциклического*.

149.

Псевдоциклическое время на самом деле является только *потребляемым внешним обликом* товарного времени производства. Оно сохраняет в себе его сущностные характерные черты обмениваемых гомогенных единиц и упразднения качественного измерения. Но, будучи субпродуктом того времени, которое предназначено для порождения отставания конкретной повседневной жизни (и для сохранения этого отставания), оно должно быть нагружено псевдооцениваниями и являться в виде вереницы ложно индивидуализированных моментов жизни.

150.

Время псевдоциклическое есть время потребления современного экономического выживания, прибавочная стоимость жизни, где повседневное проживание остается лишенным выбора и подчиненным, но уже не естественному порядку, а псевдо-природе, развившейся из отчужденного труда, а, значит, это время *совершенно естественно* вновь обнаруживает старый циклический ритм, который регулировал выживание доиндустриальных обществ. Псевдоциклическое время и опирается на естественные следы циклического времени, и составляет с ним новые гомологические комбинации: день и ночь, еженедельный труд и отдых, повторение периодов отпусков.

151.

Псевдоциклическое время – это время, которое было *преобразовано индустрией*. Время, имеющее основанием производство товаров, само является потребляемым товаром, который вбирает в себя все то, что прежде, на фазе разрушения старого неразделенного общества, различалось как жизнь частная, жизнь хозяйственная, жизнь политическая. Доходит до того, что все потребляемое время современного общества уже трактуется как первичный материал для новых диверсифицированных продуктов, которые выставляются на рынок как социально организованное распределение времени. “Продукт, уже существующий в той форме, которая его делает пригодным для непосредственного потребления, может, в свою очередь, стать первичным материалом для другого продукта” (*Капитал*).

152.

В своем наиболее развитом секторе сосредоточенный капитализм ориентируется на продажу “ полностью экипированных” блоков времени, каждый из которых представляет собой единый унифицированный товар, включивший в себя некоторое число различных товаров. Именно так могут появиться в захватывающей все новые сферы экономике “ оказания услуг” и досуга форма оплаты “ все включено” , для зрелищных зон расселения, коллективные псевдо-перемещения отпусков, абонирование культурного потребления и продажа общения как такового в “ ток-шоу” и “ встречах с интересными людьми” . Этот вид зрелищного товара, который, несомненно, имеет хождение лишь по причине возросшего дефицита соответствующих реалий, с той же очевидностью занимает положение среди показательных изделий в сфере модернизации сбыта, будучи оплачиваемым в кредит.

153.

Потребляемое псевдоциклическое время есть время зрелищное, одновременно и как время потребления образов в строгом смысле, и как образ потребления времени во всех смыслах. Время потребления образов – среда всех товаров – неразделимо выступает и как поле, где всецело задействованы инструменты спектакля, и та цель, которую они представляют глобально, и в качестве места и центрального образа всех частных видов потребления, – ибо известно, что выигрыш во времени, к каковому постоянно стремится современное общество (идет ли речь о скорости транспортных средств или о пользовании супом из пакетиков) позитивно переводится для населения Соединенных Штатов в то единственное обстоятельство, что просмотр телевизора занимает в среднем от трех до шести часов в день. Общественный образ потребления времени, со своей стороны, находится исключительно под господством периодов досуга и отпусков, моментов, представляемых *на расстоянии* и желаемых через период предварительного ожидания подобно любому зрелищному товару. Этот товар эксплицитно подается здесь как момент действительной жизни, чьего циклического возвращения необходимо ждать. Но в самих этих моментах, относимых к настоящей жизни, именно спектакль демонстрирует и воспроизводит себя, достигая к тому же своей наивысшей интенсивности. То, что было представлено, как действительная жизнь, открывает себя просто как жизнь наиболее *действительно зрелищная*.

154.

Эта эпоха, которая показывает самой себе свое время, как являющееся, в сущности, ускоренным возвратом всевозможных празднеств, равным образом, является эпохой без праздника. То, что в циклическом времени было моментом соучастия сообщества в роскошном растрачивании жизни, невозможно для общества без сообщества и без роскоши. Когда его вульгаризированные псевдо-

праздники, пародии на диалог и на дар, побуждают к излишним экономическим тратам, они сводятся лишь к разочарованию, всегда компенсируемому обещанием нового разочарования. В спектакле время современного выживания должно предлагаться тем более по высокой цене, чем более снижается его потребительная стоимость. Действительность времени оказалась замещенной *рекламой* времени.

155.

Тогда как потребление циклического времени в древних обществах происходило в соответствии с реальным трудом этих обществ, псевдоциклическое потребление развитой экономики оказывается в противоречии с необратимым абстрактным временем ее производства. Тогда как циклическое время было временем неподвижной иллюзии, переживаемой реально, время зрелищное является временем трансформирующейся реальности, проживаемым иллюзорно.

156.

То, что всегда является новым в процессе производства вещей, не обнаруживается в потреблении, остающимся расширенным возвращением того же самого. Именно потому, что мертвый труд продолжает господствовать над трудом живым, в зрелищном времени прошлое господствует над настоящим.

157.

Как другая сторона общего дефицита исторической жизни, индивидуальная жизнь все еще не имеет истории. Псевдособытия, которые теснятся в зрелищной драматизации, не были пережиты теми, кто был о них информирован, и более того, они теряются в инфляции их ускоренного замещения, с каждым новым импульсом зрелищной машинерии. С другой стороны, действительно пережитое существует вне всякой связи с необратимым официальным временем общества и в прямом противостоянии псевдоциклическому ритму потребляемых субпродуктов этого времени. Это индивидуальное проживание повседневной жизни в условиях разделения, остается без языка, без понятия, без критического подхода к собственному прошлому, которое нигде не упоминается. Оно не сообщается. Оно остается непонятым и забытым к выгоде ложной зрелищной памяти того, чего нельзя вспомнить.

158.

Спектакль как современная социальная организация паралича истории и памяти, отказа от истории, утверждающегося на основании исторического времени, есть *ложное сознание времени*.

159.

Предварительным условием для сведения трудящихся к положению “свободных” производителей и потребителей товарного времени, являлась *насильственная экспроприация их времени*. Зрелищный возврат времени стал возможен, только исходя из этой первичной экспроприации производителя.

160.

Несводимо биологическая часть, все еще присутствующая в труде, как в естественной циклической зависимости между сном и бодрствованием, так и в очевидности индивидуального необратимого времени исчерпания жизни, просто оказывается *второстепенной* по отношению к современному производству, и как таковые эти элементы не принимаются в расчет в официальных прокламациях развития производства, а являются потребляемыми им трофеями – доступным воплощением этой непрерывной победы. Обездвиженное в фальсифицированном центре движения своего мира, зрительское сознание уже не знает в своей жизни перехода ни к самореализации, ни к собственной смерти. Отказавшийся растрачивать свою жизнь, больше не в праве признавать свою смерть. Реклама

страхования жизни внушает только то, что он виновен в том, что умер, не обеспечив регулирования системы после этой экономической утраты, а реклама *american way of death* настаивает на способности поддерживать в этих обстоятельствах лавиную долю *мнимостей* жизни. На всем остальном фронте рекламных бомбардировок категорически запрещено стареть. Как если бы дело заключалось в том, чтобы обеспечить каждому некий “капитал-юность”, который, будучи лишь посредственно используемым, не мог бы, однако, претендовать на достижение долговременной и накапливающейся действительности финансового капитала. Это социальное отсутствие смерти тождественно социальному отсутствию жизни.

161.

Время, как показывал Гегель, является *необходимым* отчуждением, средой, в которой субъект осуществляет себя, себя утрачивая, становится другим, чтобы стать истиной самого себя. Но его противоположностью как раз является господствующее отчуждение, которое претерпевается производителем *чужого настоящего*. В этом *пространственном отчуждении* общество, коренным образом разделяющее субъект от деятельности, которую оно у него похищает, отделяет его, прежде всего, от его собственного времени. Преодолимым социальным отчуждением можно как раз назвать то отчуждение, которое запретило и парализовало возможности и риски отчуждения, *живущего* во времени.

162.

Под мнимыми *модами*, что уничтожаются и заново соединяются на ускользающей поверхности созерцаемого псевдоциклического времени, всегда существует *большой стиль* эпохи, ориентированный очевидной и тайной необходимостью революции.

163.

Естественное основание времени, ощущаемая данность его протекания, становится человеческим и общественным, существуя *для человека*. Именно подобное ограниченное состояние человеческой практики, труд на различных стадиях, до сих пор очеловечивало, а также обезчеловечивало, как циклическое, так и необратимое время разделения в экономическом производстве. Революционный проект бесклассового общества, возведенной в принцип исторической жизни, является проектом отмирания социальной меры времени в пользу игровой модели необратимого времени индивидов и групп, модели, в которой одновременно присутствуют *заклучившие союз независимые времена*. Это – программа полного осуществления в сфере времени коммунизма, который упраздняет “все то, что существует независимо от индивидов”.

164.

Миром уже владеет мечта о времени, сознанием которого он должен сейчас обладать, чтобы прожить его действительно.

Глава 7. Обустройство территории.

“И тот, кто станет властелином города, издавна привыкшего жить свободно, и пощадит его, пусть от города не ждет пощады, потому что там всегда сыщется повод для мятежей во имя свободы и своих старых

порядков, которые ни за давностью времени, ни за какие благодеяния не забудутся никогда. Что для них ни делай, и как ни старайся, но если не изгнать и не рассеять его жителей, они ни за что не забудут ни это имя, ни эти обычаи..."

Макиавелли, Государь.

165.

Капиталистическое производство унифицировало пространство, которое уже не ограничивается внешними ему обществами. Эта унификация в то же время является экстенсивным и интенсивным процессом усредняющего *обезличивания*. Аналогично тому, как накоплению серийно производимых товаров для абстрактного рыночного пространства суждено было разрушить все региональные и легальные барьеры и все корпоративные ограничения средневековья, которые поддерживали *качество* ремесленного производства, ему предстояло также размыть автономию и качество мест обитаний. Эта сила гомогенизации и была той тяжелой артиллерией, которая повалила все Китайские стены.

166.

Отныне именно для того, чтобы все более отождествляться с самим собой, чтобы еще сильнее приближаться к неподвижному однообразию, каждое мгновение модифицируется и реконструируется *свободное пространство товара*.

167.

Общество, которое упраздняет географическое расстояние, накапливает дистанцию внутренне, в качестве зрелищного разделения.

168.

Субпродукт кругооборота товаров, человеческое круговращение, рассматриваемое как потребление, туризм, – сводится в своей основе к единственному развлечению: поехать и посмотреть то, что уже стало банальным. Само экономическое обустройство посещения различных мест тем самым уже есть обеспечение их *эквивалентности*. Та же самая модернизация, что изъела из путешествия время, отняла у него и реальность пространства.

169.

Общество, которое моделирует все свое окружение, выработало особую технологию, чтобы выстроить конкретную базу для этой совокупности задач – саму свою территорию. Урбанизм и является таким изъятием капитализмом себе в собственность человеческой и природной среды; и сам капитализм, логически развиваясь к своему абсолютному господству, теперь может и должен перестраивать всю тотальность пространства как *собственную декорацию*.

170.

Капиталистическая необходимость, удовлетворяемая урбанизмом как видимом оледенении жизни, может выражаться – говоря языком Гегеля – как абсолютное преобладание “безмятежного пространственного существования” над “беспокойным становлением во времени и последовательности”.

171.

Если все технологические силы капиталистической экономики должны приниматься как осуществляющие различные виды разделения, то в случае урбанизма мы имеем дело с обеспечением их общего основания, с возделыванием почвы, которая будет подходящей для их развития, с самой технологией *разделения*.

172.

Урбанизм – это современное решение непрерывной задачи сохранения классовой власти, а именно – поддержание атомизации трудящихся, которых городские условия производства столь угрожающим образом *собрали воедино*. Постоянная борьба, каковую приходилось вести против всех аспектов этой возможности встречи, нашла в градостроительстве привилегированное поле собственного приложения. Усилия всех установившихся типов власти, начиная с экспериментов французской Революции, направленные на увеличение средств поддержания уличного порядка, достигают своего завершения в полном подавлении улицы. “С возникновением средств массовой коммуникации с большим радиусом действия, изоляция населения оказалась намного более действенным средством контроля” – констатирует Льюис Мамфорд в книге *Город в истории*, описывая “отныне однонаправленный мир”. Но общее развитие изоляции, представляющее собой реальность урбанизма, должно также содержать в себе контролируруемую реинтеграцию трудящихся в соответствии с планируемыми необходимостями производства и потребления. Интеграция в систему вновь должна захватывать изолированных индивидов в качестве индивидов, *изолируемых совместно*, – и потому заводы, как и учреждения культуры и отдыха, как и “жилые массивы” оказываются специально организованными с целью этой псевдоколлективности, также сопровождающей изолированного индивида и в *семейной ячейке*, – повсеместное использование приемников зрелищных передач способствует тому, что его одиночество оказывается наводненным господствующими образами, образами, только посредством подобной изоляции достигающими своего полного могущества.

173.

Впервые новая архитектура, которой во все предшествующие эпохи отводилась единственная роль – удовлетворять запросы господствующих классов, оказалась предназначенной непосредственно *для бедных*. Формальная бедность и гигантское распространение этого нового опыта расселения целиком и полностью вытекают из его *массового* характера, который предполагает одновременно и его назначение, и современные условия строительства. *Авторитарное решение*, которое абстрактно обустроивает территорию в территорию абстракции, очевидно, присутствует в самом средоточии этих современных условий строительства. Одна и та же архитектура возникает повсюду, как только начинается индустриализация стран, в этом отношении отсталых – обстановка, соответствующая полностью тому новому виду социального существования, который необходимо здесь привить. Столь же явственно, как и в вопросах термоядерного вооружения или рождаемости (в последней – в плоть до возможности манипуляций с наследственностью), в урбанизме демонстрируется и то, что уже преодолен порог усиления материальной власти над обществом, и то, что сознательное господство над этой властью приходит со значительным *запозданием*.

174.

Настоящее время – это уже эпоха саморазрушения городской среды. Наступление городов на сельскую местность, покрытую “бесформенными массами городских отходов” (Льюис Мамфорд), непосредственным образом задается императивами потребления. Диктатура автомобиля – ведущего продукта первой фазы товарного изобилия, вписывается в территории через господство автострады, которая расчлняет старые центры и задает новое, все дальше и дальше продвигающееся рассеяние. При этом моменты незавершенной перестройки городской текстуры временно поляризуются вокруг “раздаточных предприятий”, т. е. построенных на пустырях и привязанных к *парковочным*

стоянкам гигантских супермаркетов; а сами эти храмы ускоренного потребления разбегаются в центробежном движении, проталкивающим их еще дальше, по мере того, как, в свою очередь, они становятся вторичными центрами, перегруженными уже только потому, что повлекли за собой частичную перепланировку агломерации. Но таким образом техническая организация потребления существует лишь на переднем плане того общего разложения, которое приводит город к *потреблению самого себя*.

175.

Экономическая история, в целом развивавшаяся вокруг противоположности города и деревни, достигла той победной стадии, на которой аннулируются сразу оба термина. Современный *паралич* тотального исторического развития, имеющего целью лишь продолжение независимого движения экономики в период, когда начинают исчезать и город, и деревня, приводит не к *преодолению* разрыва между ними, но к их одновременному разрушению. Взаимный износ и города, и деревни, происходящий от недостатка исторического движения, через которое существующая городская действительность должна была бы быть преодолена, проявляется в том эклектическом смешении их разрозненных элементов, которое покрыло наиболее развитые индустриальные зоны.

176.

Всемирная история родилась в городах, а стала ведущей силой в эпоху решающей победы города над деревней. Маркс рассматривал как одну из важнейших революционных заслуг буржуазии то, что “она подчинила деревню городу”, чей *воздух освобождает*. Но если история города и была историей свободы, то она также была и историей тирании, государственной администрации, управляющей и деревней, и самим городом. Город еще мог быть полем битвы за историческую свободу, но не владеть ею. Город – это *среда истории*, так как он одновременно является сосредоточением общественной власти, сделавшей возможным историческое предприятие, и осознанием прошлого. Следовательно, настоящая тенденция к ликвидации города только иным способом выражает подобное запаздывание подчинения экономики историческому сознанию, унификации общества, вновь овладевающего теми видами власти, которые из него выделились.

177.

“В деревне наблюдается диаметрально противоположный факт – изолированность и разобщенность” (*Немецкая идеология*). Урбанизм, разрушающий города, восстанавливает некую псевдо-деревню, в которой утрачиваются естественные отношения старой деревни, равно как и непосредственные общественные связи, прямо поставленные под вопрос историческим городом. В новых условиях обитания и зрелищного контроля на современной “обустроенной территории” воссоздается новое искусственное крестьянство: распыленность в пространстве и ограниченный стиль мышления, которые всегда мешали крестьянству предпринимать независимые действия и утверждать себя в качестве творческой исторической силы, вновь становятся характерной чертой производителей, ибо развитие мира, производимого ими самими, также остается полностью за пределами их способностей понимания и действия, как это было при естественном ритме работ сельского общества. Но когда подобное крестьянство, некогда бывшее непоколебимой основой “восточного деспотизма”, сама распыленность которого взывала к бюрократической централизации, восстанавливается сегодня как продукт условий усиления современной государственной бюрократизации, теперь его *апатию* приходится *исторически сфабриковать* и поддерживать, – естественное невежество уступает место организованному спектаклю намеренного

заблуждения. “Новые города” технологического псевдокрестьянства четко вписываются в тот разрыв с историческим временем, на котором они воздвигаются, так что их девизом мог бы быть лозунг: “Вот здесь-то никогда ничего не произойдет, и *никогда ничего не происходило*”. Очевидно, по причине того, что история, которую нужно породить в городах, здесь еще не была рождена, силы *исторического отсутствия* начинают воздвигать свой собственный исключительный ландшафт.

178.

История, которая угрожает этому сумеречному миру, также является и силой, которая может подчинить пространство проживаемому времени. Пролетарская революция есть та *критика человеческой географии*, через которую индивиды и сообщества должны создавать местности и события, соответствующие присвоению уже не просто их труда, но их истории в целом. В этом подвижном пространстве игры и вариаций свободно избираемых правил игры автономия места может вновь проявить себя, не без того, чтобы повлечь за собой исключительную привязанность к почве, и этим восстановить действительность странствия и жизни, понимаемой как странствие, полностью несущее в себе весь свой смысл.

179.

Величайшая революционная идея по отношению к градостроительству сама не является урбанистической, технологической или эстетической. Это решение интегрально реконструировать территорию сообразно потребностям власти Советов трудящихся, *антигосударственной диктатуры пролетариата*, диалога, подлежащего исполнению. И власть Советов, могущая стать действенной лишь через преобразование всей полноты существующих условий, не может ставить себе меньшей задачи, если она желает быть признанной и *познать саму себя* в собственном мире.

Глава 8. Отрицание и потребление в культуре.

“Мы еще увидим политическую революцию? Мы, современники этих немцев? Мой друг, Вы верите в то, что Вы желаете... Тогда как я сужу о Германии по ее прошлой и современной истории, и Вы мне не станете возражать, что вся история ее искажена, что вся ее сегодняшняя общественная жизнь не представляет действительного состояния народа. Почитайте любые газеты и Вы убедитесь, что мы не перестаем – причем, согласитесь, цензура никому не мешает остановиться в этом – прославлять свободу и национальное счастье, которыми мы обладаем...”

Руге –Марксу, март 1843 г.

180.

Культура в историческом обществе, разделенном на классы, есть общая сфера познания, а также сфера представлений переживаемого; иными словами, она является той способностью обобщения, существующей *отдельно*, как разделение интеллектуального труда и интеллектуальный труд по разделению. Культура выделилась из единства общества мифа “тогда, когда мощь единения исчезает из жизни человека, а противоположности утрачивают свою живую связь и взаимодействие, обретая самостоятельность...” (*Различие систем Фихте и Шеллинга*). Добившись своей независимости, культура начинает империалистическое движение к обогащению, которое в то же время оказывается закатом ее независимости. История, создающая относительную автономию культуры и идеологические иллюзии насчет этой автономии, также выражает себя и как история культуры. А вся экспансионистская история культуры может быть понята как история обнаружения ее недостаточности и как движение к ее самоупразднению. Культура – это место поисков утраченного единства. В этом поиске единства культура как обособленная сфера обязана отрицать самое себя.

181.

Борьба между традицией и обновлением – принцип внутреннего развития культуры исторических обществ – может продолжаться только через постоянные победы обновления. Тем не менее, инновация в культуре проводится не чем иным, как всем историческим развитием в целом, которое, осознавая свою всеобщность, стремится превзойти собственные культурные предпосылки и движется к упразднению всякого разделения.

182.

Стремительный подъем познаний об обществе, которые включают в себя постижение истории, как средоточия культуры, приобретает в самом себе некое неопровержимое знание, проявляющееся в разрушении Бога. Но это “первое условие любой критики” есть также первое обязательство к бесконечной критике. Там, где никакое правило поведения уже не может поддерживаться, любое *достижение* культуры толкает ее к ее разложению. Как и философия, в то время, когда она получает свою полную автономию, всякая дисциплина, ставшая автономной, должна разрушаться, прежде всего, в качестве претензии на полное и последовательное объяснение всего общественного целого, а в конце концов, и в качестве частного инструментария, используемого в ее собственных границах. *Нехватка рациональности* в культуре, основанной на разделении, является элементом, обрекающим ее на исчезновение, ибо в ней победа рационального уже присутствует как необходимая потребность.

183.

Культура – это результат истории, которая разложила стиль жизни старого мира; но в качестве обособленной сферы она все еще остается лишь разумением и смысловой коммуникацией, остающимися частичными в обществе *частично историческом*. Она – смысл слишком далекого от осмысленности мира.

184.

Конец истории культуры проявляется с двух противоположных сторон – в проекте ее преодоления как целостной истории, и в организации ее сохранения в качестве мертвого объекта в зрелищном созерцании. Одно из этих направлений связало свою судьбу с социальной критикой, а другое – с защитой классовой власти.

185.

Каждая из двух сторон завершения культуры каким-то единым образом существует как во всех аспектах познания, так и во всех аспектах чувственных представлений, – в том, чем было *искусство* в наиболее общем смысле. В первом случае, накопление фрагментарных познаний, становящихся

бесплезными, потому что *одобрение* существующих условий должно, в конце концов, *отречься от собственных познаний*, противопоставляется теории практики, единственно которая содержит в себе истину всех познаний, одна обладает секретом их использования. Во втором случае, критическое саморазрушение прежнего *общего языка* общества противопоставляется его искусственному переустройству в рыночном спектакле, в иллюзорном представлении непроживаемого.

186.

Утрачивая общность мифического сообщества, общество должно терять все референции действительно общего языка, до тех пор, пока расщепление бездеятельного сообщества не сможет быть преодолено обретением реальной исторической общности. Как только искусство, которое и было этим общим языком социального бездействия, вырастает в независимое искусство в современном смысле, возникая из своего первичного религиозного космоса и становясь продуктом обособленного индивидуального творчества, оно познает в качестве особого случая движения то движение, которое властвует над совокупной историей разделенной культуры. И ее независимое утверждение является началом его разложения.

187.

Именно то, что утрачен язык коммуникации, *позитивно* выражается современное движение разложения всякого искусства, его формальное уничтожение. *Негативно* это движение выражает то обстоятельство, что вновь должен быть найден некий общий язык (но теперь не в одностороннем заключении, которое для искусства исторического общества *осуществлялось всегда слишком поздно*, говоря *другим* то, что переживалось без реального диалога, и принимая эту недостаточность жизни), но еще и то, что его следует найти в практике, которая объединяла бы в себе и непосредственную деятельность, и ее язык. Дело заключается в том, чтобы действительно обладать общностью диалога и игрой со временем, представленными в поэтико-художественном произведении.

188.

Когда ставшее независимым искусство представляет свой мир в ярких красках – это значит, что устарело некоторое мгновение жизни, и его уже нельзя омолодить яркими цветами, но только вызывать в воспоминании. Величие искусства начинает проявляться лишь при полном упадке жизни.

189.

Вторгшееся в искусство историческое время, прежде всего, с эпохи *барокко* выражается в самой сфере искусства. Барокко – это искусство мира, утратившего свой центр, ибо пал последний признаваемый средневековым мифический порядок космоса и земного правления – единство Христианского мира и призрак Империи. *Искусство перемены* и должно нести в себе то эфемерное начало, которое оно открывает в мире. Оно выбрало, как говорит Эухенио д'Орс, “жизнь вместо вечности”. Театр и праздник, театральное празднество являются господствующими моментами барочной постановки, где любая особая художественная выразительность обретает свой смысл лишь в отношении к декорации созданного места действия, к конструкции, которой самой по себе предстоит стать центром воссоединения, и центр этот служит *переходом*, который вписывается как находящееся под угрозой равновесие в динамический беспорядок целого. Важность, порою чрезмерная, которую приобретает понятие барокко в современной эстетической дискуссии, выдает осознание невозможности художественного классицизма, ибо усилия, направленные на установление нормативного классицизма или неоклассицизма, в течение трех веков были лишь

кратковременными надуманными конструкциями, говорящими внешним языком государства, языком абсолютной монархии или революционной буржуазии, облаченной в римские тоги. От романтизма к кубизму все более, в конечном счете, индивидуализирующееся искусство отрицания, постоянно возобновляющееся вплоть до окончательного раздробления и отрицания художественной сферы, следовало общему барочному движению. Исчезновение исторического искусства, связанного с внутренней коммуникацией элиты, которая имела свою полунезависимую социальную базу в тех частично игровых условиях, которые еще застали последние аристократии, выдает также то обстоятельство, что капитализм представляет собой первую классовую власть, которая признает себя лишенной всякого онтологического качества, а укоренение его власти в простом распоряжении экономикой равным образом влечет за собой утрату всякого человеческого *достоинства*. Барочный ансамбль, для художественного *творения* сам являющийся давно утраченным единством, вновь как бы воспроизводится в современном *потреблении* всего художественного прошлого. Историческое познание и признание всего искусства прошлого, ретроспективно воссоздаваемого в виде мирового искусства, релятивизируют его в некоем глобальном беспорядке, в свою очередь, создающем барочное строение на более высоком уровне, – строение, в котором должны смешаться и само производство барочного искусства, и все его воскрешения. Искусства всех цивилизаций и эпох в первый раз могут быть поняты и приняты все вместе. Это “собрание воспоминаний” истории искусства, становясь возможным, также, является *концом мира искусства*. Именно в нашу эпоху музеев, когда никакая художественная коммуникация уже не может существовать, все старые моменты искусства могут быть приняты на равных правах, ибо никакой из них уже не пострадает от утраты особых условий сообщения, при современной утрате условий коммуникации *вообще*.

190.

Искусство в эпоху распада в качестве негативного движения, стремящегося к преодолению искусства в историческом обществе, в котором история еще не была пережита, является сразу и искусством перемены и чистым выражением невозможности изменения. Чем грандиознее его требование, тем более его истинная реализация далека от него. Это искусство – *авангард* поневоле, и оно-то как раз *не является авангардом*. Его авангардизм – в его исчезновении.

191.

Дадаизм и сюрреализм – два течения, отмечающие конец современного искусства. Они являются, хотя лишь относительно сознательным образом, современниками последнего великого натиска революционного пролетарского движения, и поражение этого движения, оставившее их заключенными внутри того самого художественного поля, дряхлость которого они провозглашали, стала основной причиной их застоя. Дадаизм и сюрреализм являются одновременно исторически связанными и противоположными. В этой противоположности, что также составляет для каждого самую последовательную и радикальную часть его вклада, проявляется внутренняя недостаточность их критики, развиваемой как одним, так и другим с одной-единственной стороны. Дадаизм стремился упразднить *искусство, не воплощая его*, а сюрреализм хотел *воплотить искусство, не упраздняя его*. Критическая позиция, выработанная с этих пор *ситуационистами*, показала, что и упразднение, и воплощение искусства являются двумя нераздельными аспектами одного и того же *преодоления искусства*.

192.

Зрелищное потребление, которое сохраняет старую застывшую культуру, в том числе и подконтрольное повторение ее негативных проявлений, открыто становится в своем культурном секторе тем, чем оно имплицитно является в своей всеобщности – *коммуникацией не поддающегося сообщению*. Предельная деструкция языка может оказаться пошло признаваемой в нем как официальная позитивная ценность, ибо речь идет об афишировании примирения с господствующим положением вещей, когда всякая коммуникация радостно провозглашается отсутствующей. Критическая истинна этой деструкции, как действительная жизнь современной поэзии и искусства, явно оказывается скрытой, ибо спектакль, который имеет своей функцией *заставить забыть историю в культуре*, в псевдо-новизне своих модернистских средств применяет ту же стратегию, что в глубине конституирует его самого. Таким образом, может выдавать себя за нечто новое некая школа неолитературы, просто признающая, что написанное важно для нее само по себе. Кроме того, наряду с простым провозглашением самодостаточной красоты разрушаемого, самое современное течение зрелищной культуры (и наиболее связанное с репрессивной практикой общей организации общества) стремится посредством “ комплексных произведений” перекомпановать сложную неохудожественную среду, отправляясь от разрозненных элементов, и, в особенности, в попытках интеграции в урбанизме художественных остатков или эстетико-технологических гибридов. И это есть перевод в план зрелищной псевдокультуры общего проекта развитого капитализма, который нацелен на то, чтобы вновь захватить частного труженика как “ личность, полностью интегрированную в коллектив” – тенденция, описанная современными американскими социологами (Рисмэном, Уайтом и др.). И повсюду – это один и тот же проект *реструктуризации без сообщества*.

193.

Культура, ставшая всецело товарной, также должна стать ведущим товаром зрелищного общества. Кларк Керр, один из самых радикальных идеологов этого течения, подсчитал, что сложный процесс производства, распределения и потребления *знаний* уже захватывает ежегодно 29% национального продукта Соединенных Штатов, и предсказывает, что во второй половине столетия культура должна занять роль двигателя в развитии экономики, каковой была роль автомобиля в его первой половине, и железных дорог во второй половине века предыдущего.

194.

Система знаний, теперь продолжающаяся развиваться, как *мышление спектакля*, должна оправдывать общество без оправданий и конституироваться в общую науку ложного сознания. Она целиком обусловлена тем, что не может и не хочет мыслить собственное материальное основание в зрелищной системе.

195.

Мышление социальной организации кажимости само затемняется той возведенной в принцип *подкоммуникацией*, которую оно защищает. Оно не ведает, что конфликт и есть исток всех вещей его мира. Профессионалы власти спектакля – абсолютной власти внутри его системы безответного языка, абсолютно развращены своим опытом презрения и успехом этого презрения – ведь они находят подтверждение своему презрению в познании *презренного человека*, каковым в действительности зритель и является.

196.

В специализированном мышлении зрелищной системы производится новое разделение задач по мере того, как совершенствование этой системы ставит новые проблемы: с одной стороны, *показная критика спектакля* предпринимается современной социологией, которая изучает разделение только

с помощью концептуальных и материальных инструментов этого разделения, а с другой, *апология спектакля* конституируется в мышление не-мысли, в *патентованное забвение* исторической практики, в тех самых разных дисциплинах, где укореняется структурализм. И все же ложная безнадежность недиалектической критики и ложный оптимизм откровенной рекламы системы тождественны, будучи подчиненной мыслью.

197.

Социология, которая, прежде всего, в Соединенных Штатах, начала выносить на обсуждение условия существования, возникшие на современной стадии развития общества, если даже и смогла собрать массу эмпирических данных, никоим образом не поняла истины собственного предмета, так как не может найти в самой в себе имманентной ей критики. И выходит, что откровенно реформистская тенденция этой социологии опирается только на мораль, здравый смысл, совершенно беспомощные призывы к мере и т. д. Из-за того, что такая манера критиковать не признает то негативное, которое находится в сердцевине ее мира, она только и делает, что настаивает на описании своего рода негативного излишества, который, на ее взгляд, досадно обременяет поверхность этого мира, как паразитический иррациональный нарост. Возмущенная добрая воля, которая даже в качестве таковой доходит только до осуждения внешних последствий системы, считает себя критикой, забывая о сущностно *апологетическом* характере своих предпосылок и собственного метода.

198.

Обличители абсурдности или губительных последствий стимуляции расточительства в обществе экономической избыточности не ведают того, чему служит расточительство. Во имя экономической рациональности они, проявляя неблагодарность, проклинают тех самых иррациональных добрых ангелов-хранителей, без которых рухнула бы власть этой экономической рациональности. Так, например, Бурстин, описывающий в *L'Image* товарное потребление американского спектакля, так и не доходит до понятия “спектакля”, потому что полагает, что может оставить вне пределов этого губительного преувеличения частную жизнь или же понятие “честного товара”. Он не понимает, что сам товар создал законы, “честное” применение которых задает как особую реальность частной жизни, так и ее последующий захват общественным потреблением образов.

199.

Бурстин описывает крайности мира, ставшего нам чуждым, как крайности, чуждые нашему миру. Но “нормальные” основы социальной жизни, на которые он имплицитно ссылается, когда качественно определяет поверхностное царство образов в терминах психологического и морального суждения в качестве продукта “наших чрезмерных претензий”, не соответствуют никакой действительности ни в его книге, ни в его эпохе. Именно потому, что действительная человеческая жизнь, о которой говорит Бурстин, существует для него в прошлом, которому принадлежит и прошлое религиозной покорности, он не может понять всю глубину общества имиджа. *Истина* этого общества – не что иное, как *отрицание* этого общества.

200.

Социология, которая полагает, будто может выделить из системы общественной жизни некую промышленную рациональность, функционирующую отдельно, может дойти до того, что выделит из глобального индустриального развития технологии воспроизводства и передачи. Именно так Бурстин обнаруживает в качестве причины результаты, изображаемые им как несчастные, как бы нечаянные, обстоятельства функционирования слишком большого

технологического аппарата распространения образов и чересчур сильного влечения людей нашей эпохи к псевдосенсационному. А следовательно, спектакль своим существованием, якобы, обязан тому, что современный человек слишком уж является зрителем. Бурстин не понимает, что размножение предварительно сфабрикованных “ псевдособытий” , которое он изобличает, просто вытекает из того, что люди в массовой реальности современной общественной жизни сами событий не проживают. Именно потому, что история сама навещает современное общество как призрак, на всех уровнях потребления жизни обнаруживают псевдоисторию, сконструированную, чтобы сохранить шаткое равновесие современного *застывшего времени*.

201.

Утверждение окончательной стабильности краткого периода застывания исторического времени является сознательно и бессознательно провозглашаемой бесспорной основой современной тенденции к *структуралистской* систематизации. Точка зрения, в которой размещается антиисторическое мышление структурализма, является точкой вечного присутствия некой системы, что никогда не была создана, и никогда не придет к концу. Мечта о диктатуре предзаданной и бессознательной структуры над всей социальной практикой может быть неправомерно извлечена из структурных моделей, разработанных лингвистикой и этнологией (включая анализ функционирования капитализма), – моделей, *в этих обстоятельствах уже понимаемых превратно*, просто потому, что университетское мышление скоро удовлетворяемого *среднего кадрового состава*, мышление, всецело погруженное в восхищенное восхваление существующей системы, пошло подгоняет всякую действительность к существованию системы.

202.

Как и во всякой исторической общественной науке, для понимания “ структуралистских” категорий всегда нужно иметь в виду, что категории выражают формы и условия существования. Подобно тому, как о качествах человека не судят по представлению, которое он имеет о себе самом, нельзя оценивать (и восхищаться) это предопределенное общество, принимая как безусловную истину язык, коим оно говорит о себе самом. “Нельзя оценивать такого рода эпохи перемен исходя из их сознанием о себе, но наоборот, необходимо объяснять сознание через противоречия материальной жизни...” Структура – дочь наличествующей власти. Структурализм есть *мышление, обеспеченное государством*, которое мыслит настоящие условия зрелищной “ коммуникации” в качестве абсолюта. Его манера изолированного изучения кода сообщений является лишь продуктом и признанием общества, где сообщение осуществляется в форме каскада иерархических сигналов. Так что не структурализм служит подтверждению над исторической действительности общества спектакля, а наоборот, общество спектакля, навязывающееся как массовая действительность, служит подтверждению холодных грез структурализма.

203.

Несомненно, критическое понятие *спектакля* также может быть вульгаризировано в какой-нибудь надуманной формуле социологической и политической риторики, которая бы абстрактно объясняла и разоблачала все, что угодно, и таким образом служила защите зрелищной системы. Ибо очевидно, что никакая идея не может вывести за пределы существующего спектакля, но только за пределы существующих о спектакле идей. Чтобы действительно разрушить общество спектакля, необходимы люди, которые бы задействовали какую-то практическую силу. Критическая теория спектакля является истинной, лишь

объединяясь с практическим движением отрицания в обществе, а это отрицание – возобновление борьбы революционного класса – осознает само себя, развивая критику спектакля, которая является теорией его действительных условий, практических условий современного подавления, и далее раскрывает тайну того, чем она может быть. Эта теория не ожидает чудес от рабочего класса. Она предвидит в новом формировании и осуществлении пролетарских требований долгосрочную задачу. При искусственном различении борьбы теоретической и борьбы практической – ибо, исходя из выше определенных оснований, само создание и сообщение такой теории уже не может осуществляться без *строгой практики* – несомненно, что смутно и трудно продвигающаяся критическая теория также должна стать уделом практического движения, действующего на уровне общества.

204.

Критическая теория должна *сообщаться* на собственном языке. Это язык противоречия, и он должен быть диалектическим по своей форме, каким он является в своем содержании. Он является и критикой целого и исторической критикой. Это не “нулевая степень письма”, но его оборачивание. Это не отрицание стиля, но стиль отрицания.

205.

В самом своем стиле изложение диалектической теории есть скандал и безобразие с точки зрения правил господствующего языка, и вкуса, воспитанного этими правилами, так как в позитивное употребление существующих понятий оно одновременно включает понимание их вновь обретенной *текучести* и их необходимого разложения.

206.

Этот стиль, который содержит собственную критику, должен выражать господство современной критики над *всем ее прошлым*. Благодаря ему способ изложения диалектической теории свидетельствует о негативном духе, который в ней присутствует. “Истина не является подобной продукту, на котором уже не найти следа орудия”. (Гегель) Это теоретическое сознание движения, в котором должен присутствовать сам след движения, проявляется через *обращение* установленных отношений между понятиями и через *отстранение* от всех обретений предшествующей критики. Обращение генетива есть то выражение исторических революций, отчеканенное в форме мысли, которое рассматривалось как эпиграмматический стиль Гегеля. Молодой Маркс, будучи верным систематическому использованию этого стиля Фейербахом, превозносящий замещение субъекта предикатом, добился наиболее последовательного употребления этого *мятежного стиля*, из философии нищеты извлекающего нищету философии. Отстранение же приводит к подрыву прошлых критических выводов, застывших в почтенных истинах, то есть превратившихся в ложь. Уже Керкегор его сознательно использовал, присоединяясь сам к их разоблачению: “Но несмотря на все подвохи и уловки, подобно тому, как варенье вновь отправляется в кладовую, так и ты всегда заканчиваешь тем, что вставляешь какое-нибудь тебе не принадлежащее словечко, тревожащее воспоминанием, которое оно пробуждает” (*Философские крохи*). Именно обязательность *дистанцирования* по отношению к тому, что было фальсифицировано в официальной истине, таким образом, определяет такое употребление отстранения, признаваемое Керкегором в той же книге: “Еще одно замечание по поводу твоих многочисленных намеков с целью поставить мне в вину то, что я смешиваю в своих заявлениях заимствованные положения. Я этого здесь не отрицаю, и не буду также скрывать, что это было сделано преднамеренно, но уже в продолжении этой книжонки, коли я его когда-нибудь

напишу, я намерен называть предмет его настоящим именем и облачать проблему в исторические одежды”.

207.

Идеи совершенствуются. Соучаствует в этом и смысл слов. Плагиат необходим. Его предполагает прогресс. Он точно держится фразы автора, пользуется его выражениями, удаляет ложную идею и заменяет ее идеей верной.

208.

Отстранение – это противоположность цитированию, теоретическому авторитету, всегда уже фальсифицированному просто тем, что он уже стал цитатой, фрагментом, вырванным из контекста, из движения, и, наконец, из эпохи как общего поля референции и из конкретного выбора, которым была эта цитата внутри соответствующей референции, признанной ли она за правильную, или за ошибочную. Отстранение – это текучий язык анти-идеологии. Оно появляется в коммуникации, которой ведомо, что она не может претендовать на поддержание какой-либо окончательной гарантии в самой себе. В своей высшей точке оно является языком, который не может подтвердить никакая предшествовавшая сверхкритическая референция. Наоборот, именно его собственная последовательность, по отношению к себе и при помощи доступных ему фактов, может подтвердить старое существо истины, к которому оно сводится. Отстранение в качестве актуальной критической инстанции не обосновывает своей причины ни на чем внешнем по отношению к его собственной истине.

209.

То, что в теоретической формулировке открыто представляется как *отстраненное*, чем опровергается любая длительная автономия сферы выраженного теоретически, а именно введением в нее *посредством такого насилия* действия, нарушающего и преодолевающего любой существующий порядок, – напоминает, что это существование теоретического само по себе ничто и должно познаваться лишь совместно с историческим действием и *исторической правкой*, в которой заключается ее истинная верность.

210.

Только действительное отрицание культуры и сохраняет ее смысл. Более оно не может быть *культурным*. Таким образом, оно есть то, что в некотором роде остается на уровне культуры, хотя и в совершенно ином значении.

211.

В языке противоречия, критика культуры представляется *воссоединенной*, поскольку она господствует над всей культурой (как ее познанием, так и ее поэзией) и поскольку она уже не отделяется от критики общественного целого. Только такая *воссоединенная теоретическая критика* идет на встречу *воссоединенной общественной практике*.

Глава 9. Материализованная идеология.

“Самосознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого самосознания, то есть оно есть только как нечто признанное.”

Гегель, Феноменология духа.

212.

Идеология есть *основа* мышления классового общества в конфликтном движении истории. Идеологические факты всегда были не простыми химерами, но деформированным сознанием различных реалий, а в качестве таковых – реальными факторами, осуществляющими, в свою очередь, некое действительное деформирующее воздействие; с тем большим основанием *материализация идеологии*, в форме спектакля влекущая за собой воплощенный конкретный результат автономизированного экономического производства, практически сливается с общественной действительностью идеологии, которая все действительное смогла перекроить по собственной модели.

213.

Когда идеология, являющаяся *абстрактной* волей к универсальному и ее иллюзией, оказывается узаконенной универсальной абстракцией и действенной диктатурой иллюзии в современном обществе, она больше не является волюнтаристской борьбой разделенного на части, но его триумфом. Отсюда идеологическая претензия обеспечить своего рода пошлую позитивистскую точность: дескать, теперь она представляет собой не исторический выбор, но некую очевидность. В таком утверждении рассеиваются частные *имена* идеологии. А само участие собственно идеологического труда в обслуживании системы понимается теперь лишь в качестве признания “эпистемологического пласта”, притязающего на потусторонность по отношению к любому идеологическому феномену. Материализованная идеология сама безымянна, равно как и лишена выраженной исторической программы. А это значит, что история *идеологий* закончена.

214.

Идеология, которую вся ее внутренняя логика вела к “тотальной идеологии” в смысле Мангейма, к деспотизму фрагмента, навязывающего себя в качестве псевдо-знания застывшего *целого*, как *тоталитарное* видение, – свершается теперь в неподвижном спектакле не-истории. Его свершение есть также ее разложение в системе общества. С *практическим разложением* этого общества должна исчезнуть и идеология, *последняя неразумность*, перекрывающая доступ к исторической жизни.

215.

Спектакль – это идеология *par excellence*, так как он выражает и проявляет в своей полноте сущность любой идеологической системы: обеднение, подчинение и отрицание действительной жизни. Материально спектакль является “выражением разделения и отчуждения между человеком и человеком”. “Обман, возведенный в новую *степень*”, в нем сосредоточенный имеет свою основу на том производстве, посредством коего “с массой предметов растет ... новая область чуждых сущностей, которым подчиняется человек.” Это высшая стадия той экспансии, что обращает потребность против жизни. “Потребность в деньгах есть, следовательно, подлинная потребность, производимая политической экономией, причем единственная потребность, какую она производит” (*Экономико-политические рукописи*). Спектакль распространяет на всю общественную жизнь принцип, который Гегель в “Йенской реальной философии” понимал как принцип денег, это – “в себе движущаяся жизнь мертвого”.

216.

В противоположность проекту, подытоженному в “Тезисах о Фейербахе” (реализация философии в практике, которая преодолевала бы противоположность идеализма и материализма), спектакль в псевдо-конкретности его вселенной сохраняет и навязывает идеологические черты одновременно материализма, и идеализма. Созерцательная сторона старого материализма, постигающего мир как представление, а не как деятельность (и, в конечном счете,

идеализирующего материю), достигла своей полноты в спектакле, где конкретные вещи автоматически оказываются хозяевами общественной жизни. С другой стороны, *мечтательная активность* идеализма также находит завершение в спектакле – через техническое опосредование знаков и сигналов, которые, в конечном счете, материализуют абстрактный идеал.

217.

В этом экономическом процессе материализации идеологии следует выделить установленный Габелем (*Ложное сознание*) параллелизм между идеологией и шизофренией. Общество стало тем, чем уже была идеология. Исключение из практической деятельности и сопутствующее антидиалектическое ложное сознание – вот то, что ежечасно навязывается повседневной жизни, подчиненной спектаклю, что нужно понимать как систематическую организацию “ослабления способности к встрече”, и как ее замещение галлюцинаторным общественным порядком: ложное сознание встречи, “иллюзия встречи”. В обществе, где уже никто не может быть *признан* другими, каждый индивид становится неспособным признать и свою собственную реальность. Теперь идеология у себя дома, разделение построило собственный мир.

218.

“В клинических картинах шизофрении, – говорит Габель, – упадок диалектики целостности (и, в конце концов, ее разложение) и упадок диалектики становления (с кататонией как крайней формой его проявления) вполне соответствуют друг другу.” Зрительское сознание – узник уплощенной вселенной, ограниченной *экраном* спектакля, за который была вынесена его собственная жизнь, теперь знает только *фиктивных собеседников*, которые рассказывают ему исключительно о своем товаре и о политике их товара. На всем своем протяжении спектакль является его “зеркальным знаком”. В нем инсценируется ложный выход из возведенного в принцип аутизма.

219.

Спектакль, т. е. стирание границ между я и миром, посредством деформации я, одолеваемого присутствием-отсутствием мира, равным образом, есть стирание границ между истинным и ложным в виду вытеснения всякой переживаемой истинности под *реальным присутствием* ложности, которую обеспечивает организация мнимости. Тот, кто изо дня в день пассивно подчиняется участи отчуждаемого, тем самым доводится до безумия, которое иллюзорно реагирует на эту участь, прибегая к магическим техникам. Признание и потребление товаров находятся в самом центре этого псевдоответа на безответное сообщение. Потребность в подражании, испытываемая потребителем, является инфантильной потребностью, как раз и обусловленной всеми аспектами его фундаментальной экспроприации. Согласно терминам, которые Габель употребляет применительно к совершенно иному уровню патологии, “аномальная потребность выставления себя на показ компенсирует здесь мучительное чувство – существования на обочине жизни”.

220.

И если логика ложного сознания не может правдиво познать саму себя, то поиски критической истины о спектакле должны стать истинной критикой. Она должна вести практическую борьбу с непримиримыми врагами спектакля и соглашаться быть отсутствующей там, где отсутствуют они. Как раз законы господствующего мышления, исключительную точку зрения *актуальности*, и признает абстрактная воля к непосредственной действительности, когда она бросается в компромиссы реформизма или в общее дело псевдореволюционных недобитков. Этим бред воспроизводится в той самой позиции, которая претендует

на то, чтобы его побороть. Наоборот, критика, выходящая по ту сторону спектакля, должна *уметь ждать*.

221.

Избавиться от материальных оснований обращенной истины – вот в чем состоит самоосвобождение нашей эпохи. Эту “историческую миссию восстановления истины в мире” не могут выполнить ни изолированный индивид, ни подверженная манипуляциям атомизированная толпа, но единственно класс, способный стать разрушителем всех классов, приводя всякую власть к не отчуждающей форме осуществленной демократии, к Совету, в котором практическая теория контролирует сама себя и видит собственное действие. Только в нем индивиды “непосредственно связаны со всеобщей историей”, только в нем диалог вооружает себя для того, чтобы преодолеть собственную ограниченность.